Иван Гайдаенко
ДРУЗЬЯ
и НЕДРУГИ

Иван Гайдаенко

ДРУЗЬЯ и НЕДРУГИ

Документальные повести

КИЕВ · «РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК»
1978

91п
Г14

Книга известного советского писателя И. П. Гайдаенко повествует о его морских путешествиях в Японию и Испанию. В своих произведениях автор раскрывает характерные стороны повседневной жизни этих стран, описывает простых людей в их труде и заботах, в их чувстве любви к Советскому Союзу, а также развенчивает противников всего прогрессивного.

Головное предприятие РПО «Поліграфкнига»

Г $\frac{70303\text{-}051}{М223(04)\text{-}78}$ БЗ-1-12-78

ОТ АВТОРА

Дневники я веду со дня своего первого плавания и по сегодняшний день, помня, что «лучшая память — чернила». Летят годы, а страницы дневниковых записей цепко запоминают каждое событие, каждое слово при встрече с добрым зарубежным другом или с обозленным недругом, с человеком заблудившимся или с убежденным, отпетым врагом. Перелистывая дневники, невольно сравниваешь людей, встреченных в разные годы, их действия, думы и чаяния, перемены, происшедшие во взглядах на мир, в отношениях к действительности.

Дневники и заставили меня написать эту книгу, чтобы познакомить читателя с калейдоскопом жизни многих не выдуманных, а реально существующих людей в разных странах. Только в редких случаях мне пришлось изменить фамилии, чтобы не накликать на людей гонения, не причинить им зла.

ГДЕ ЖЕ ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ?

В Стране восходящего солнца мне довелось побывать в 1934 году, когда я плавал матросом на судах Черноморского флота. Япония произвела на меня огромное впечатление яркой, самобытной страны. Для меня это было открытие совершенно своеобразного, отдельного и неповторимого мира, не похожего ни на одну модель востока или запада.

Суда, на которых мне приходилось плавать позже, прокладывали свои курсы вдали от японских островов, а если иногда и случалось проходить совсем рядом с ними, то без захода в порты. Так складывались мои пути-дороги. Наконец я решил больше не полагаться на волю волн и конъюнктуру службы эксплуатации Черноморского пароходства, а самому вмешаться в географию своих рейсов.

Секретариат правления Союза писателей СССР предоставил мне творческую командировку в Японию. Иностранная комиссия снабдила всеми необходимыми документами, осталось просить руководство пароходства подобрать уходящее в те далекие края судно и собрать чемодан. Но не одним чемоданом закончились мои сборы в дорогу.

В Киевском горисполкоме меня попросили захватить с собой сувениры и вручить их мэру города Киото —

побратиму столицы Украины. Одесский горисполком присоединил свои памятные подарки для мэра и его сотрудников муниципалитета города Иокогамы — породненного с Одессой. С этими поручениями, с тремя чемоданами и назначением на должность первого помощника капитана я отправился в Поти, где турбоход «Металлург Курако» грузился марганцевой рудой.

Зима в этот год выдалась суровой, Одесский залив оказался скованным льдами, и пассажирское сообщение морем на время было прервано. Поездом пришлось ехать до Ростова, пересаживаться на другой поезд и следовать до Сухуми, а оттуда уже автомашиной добираться до Поти. Приятного в этом путешествии с тремя тяжелыми чемоданами — в метельные дни среди снежных заносов на дорогах — было мало, и я с облегчением вздохнул, когда очутился в своей каюте «Металлурга Курако», среди своих товарищей.

В последний день февраля мы закончили погрузку руды и покинули Поти. Шестого марта 1969 года снялись с Новороссийска на Японию. Наш путь был далек, долог и труден. Суэцкий канал не действовал, и дорога на восток пролегла вокруг Африканского материка, огибая мыс Доброй Надежды и пересекая Индийский океан. В моей командировке значился двухнедельный срок пребывания в Японии, а до первого ее порта мы добирались пятьдесят суток с двухдневным перестоем в Сингапуре.

В Южно-Китайском море от Сингапура до острова Тайвань и дальше за северный тропик до самой Окинавы — каждый день встречи с кораблями Седьмого американского флота, облеты судна военными самолетами. Словно распавшийся рой разозленных пчел, жужжат и кружатся над мачтами самолеты и вертолеты, совершают посадки и вылетают на боевые задания. В дрейфе лежат серые громады столообразных айсбергов из листовой стали — плавучие аэродромы авианосцев. В их глубоких

чревах стонут и ухают мощные двигатели, вокруг мечутся эсминцы и стоят в караулах подводные лодки — охраняют каждый авианосец, стоящий сотни миллионов долларов. Одна ракета может превратить эти миллионы в обычный металлолом, отправив его на дно морское. Только пройдя сквозь отряды кораблей заокеанской армады, по-настоящему можно оценить мужество и волю вьетнамцев, противостоящих американской военной машине.

Окинава окружена запретными для судоходства зонами. Красными пунктирными линиями на морских картах обозначены полигоны бомбометания, испытания ракет, артиллерийских снарядов и торпедных стрельб. На юге острова обширный район под кодовым названием «В-172», на севере «В-179», на востоке «Отель-отель», «Майк-майк». На мостике, не переставая, тревожно звонят звонки, мигают красными лампочками дозиметры счетчиков Гейгера, определяя повышенную радиацию воды и воздуха. Люди. Они не подозревают, что вокруг них бродит слепая смерть, накапливая здесь свою силу.

Вся жизнь японцев сопровождается пятью страхами: тайфун, пожар, эпидемия, гнев родителей и гнев императора. С первого января 1946 года император Японии Хирохито отрекся от родственных связей с господом богом и принял земное звание обычного смертного по профессии гидробиолога. Теперь он запросто может появляться среди людей, когда ему захочется. Император больше не наделен полномочиями государственной власти. Он — только символ государства и единства народа. Так определяет его положение новая конституция Японии, вступившая в силу 3 мая 1947 года. Следовательно, пятый страх сам по себе отпал. Но говорят, что место императора в табеле страхов заняла цунами, а шестым страхом японца, если не первым, стала радиация.

Приблизительно за сутки до подхода к первому японскому порту я отправил радиограммы мэрам городов

Иокогамы и Киото: «25 апреля прибываю порт Фусики стоянкой два-три дня имею личные поручения председателей горисполкомов Киева и Одессы».

Не спеша, фундаментально разрабатывая планы, готовился я к поездке по Японии. По предварительным расчетам капитана Михаила Каллиниковича Сидорчука, турбоход «Металлург Курако» задержится под выгрузкой и погрузкой в японских портах не менее двух недель. Этого времени вполне достаточно, чтобы побывать в Иокогаме и Киото, в Токио и Кобе, в Осаке, Хиросиме, Нагасаки и, конечно, в Мекке туризма — Наре.

По просьбе своего доброго друга народного художника СССР, главного редактора «Веселых картинок» Ивана Максимовича Семенова я должен посетить члена правления Общества японо-советской дружбы, главного редактора издательства «Синдокусёся» Тоситака Идзюни и художника, пишущего для детей, Судзуки Тосио — в Токио. Моих недавних знакомых по выставке Иокогамы в Одессе — промышленника Такеси Касаи и директора Иокогамской галереи искусств Имаи Ямада.

Я специально перечитал немало литературы о японских обычаях и нравах, книг по истории и экономике страны, даже выучил несколько японских слов первой необходимости: здравствуйте (коничева), до свидания (сайонола), благодарю вас (аригатоо газаимос), на здоровье (компай) и считал себя в меру подготовленным к путешествию по городам и ко встречам с потомками богини солнца Аматерассу Омиками, как именуют себя японские аристократы.

В густом тумане, осторожно пробиваясь сквозь поток мелких рыбачьих шхун, выходящих в море, мы зашли в залив Отояма и бросили якорь на рейде Фусики.

Первым нас встретил полицейский катер.

— Где ваш пассажир? — прокричал в спикер представитель полиции по-английски.

— У нас нет пассажиров,— ответили ему с крыла ходового мостика.

— Как это нет? Тот, который имеет особые поручения.

Теперь мы уразумели: пассажиром полиция посчитала меня, а «личные» поручения уже оказались «особыми» поручениями. Непонятно только одно: почему моей доброй миссией занимается полиция? Ведь радиограммы адресовались не полицейскому управлению.

Катер отправился в порт ни с чем. Окажись я пассажиром, полиция сняла бы меня с борта и доставила на берег для оформления документов и багажа. Как хорошо, что я член экипажа!

Прибыл лоцман, завел судно в порт, поставил у причала. И его почему-то интересует личность «пассажира» с «особыми» поручениями. Поднявшиеся на борт врачи, таможенники и иммиграционная полиция требуют «того самого, который имеет особые поручения». Мои радиограммы по какой-то нам не ведомой причине всполошили весь город Фусики, если не всю Японию.

Я тут же предстал перед подозрительными, что-то скрывающими очами местных властей и был удостоен вежливых улыбок.

— И сказите и позалуста, и какое паспорта и вы имеете? — спросил меня по-русски один из таможенников.

— Обычный морской паспорт первого офицера.— Я протянул ему темно-красную книжицу.

— И очённо и карасо,— он мило улыбнулся и поклонился.

Мой паспорт пошел по рукам. Его перелистывали все семь представителей. На какой вопрос они искали в нем ответа — неизвестно.

— И сказите и позалуста и другая паспорта и дипломацициский вы не и не имеете?

— Другого паспорта не имею.

— И оченно и карасо. И спасиба. И какой и поруцения вы имеете? — Доброжелательная, вежливая улыбка не покидает его уст.

— Вручить мэрам японских городов сувениры от советских городов-побратимов: Киева — для Киото, Одессы — для Иокогамы.

— И спасиба. И оченно и карасо.— Он кланяется не переставая.

О чем-то они переговорили между собой по-японски и снова вопрос:

— И сказите и позалуста и какой есть и ваш и сувенира?

— Самовары, шкатулки палехской работы, рисунки детей Украины, литографии украинских художников, «Кобзарь» Тараса Шевченко, портрет Ленина, набор пластинок украинских песен, буклеты с видами Киева и Москвы, диафильмы,— перечислял я все, что мог вспомнить.

— И оченно и карасо.

Началось долгое, никому не понятное совещание на японском языке. Наконец мне объявили:

— Извините и позалуста и вы не мозете и выехать и с васим и паспорта и ни в какой и город Японии. И надо иметь и паспорта и туриста...

Теперь наступил мой черед извиняться и благодарить.

— Простите, но до сих пор советские моряки свободно передвигались по стране, имея морской паспорт. К примеру, наш капитан ездил из Осаки в Токио...

Таможенник переводил мои слова, но ответа на свое заявление я не дождался.

— Как же прикажете быть с сувенирами?

— И к вам и приедут и сами мэр или их и секретарь.

Это меня мало устраивало. Неужели все мои планы рухнули?

— Может быть, вы разрешите мне связаться по телефону с мэрами Иокогамы и Киото и они смогут добиться разрешения на мой въезд?

— И позалуста, и звоните и куда вам и хоцеца.

— Извините, господа, но при выходе в город тех портов, где будет стоять судно, мне не будут чинить препятствий?

— И нет, и нет, и позалуста, и выходите и гуляйте и на здоровье.

«И на этом спасибо»,— подумал я. Хотел было поблагодарить их на японском языке, но забыл это слово и сказал по-русски:

— До свидания!

— И до свидания, и всего коросево.

НЕЗВАНЫЕ СПУТНИКИ

В моей каюте гости. Их трое: Нанае, Фуракава и Хаватачи. Последний немного говорит по-русски, до певучести растягивая конечные гласные. Соблюдая обычай морского гостеприимства, я угощаю новых знакомых русской водкой. Пьют они «Столичную» с превеликим удовольствием и, к моему удивлению, очень медленно приходит к ним веселое расположение духа. Они почти трезвы. В визитных карточках этих господ очень неопределенно указываются род занятий и должности: Нанае — импорт, экспорт, Фусики; Хаватачи — импорт, Токио; Фуракава — департамент сырья, Токио.

— И была и господина Ивана и когда-нибудь и Япония? — переводит мне Хаватачи вопрос Нанае.

— Бывал в Японии, но очень давно.

Хаватачи переводит мои слова коллегам.

— И когда была и Япония?

— В 1934 году.
— И наравится Ивана-сан и Япония?
— Интересная страна, много своеобразия.
— И когда была и война и где воевала господина?
— На Черном море, в военно-морских силах.
— И офицера?
— Да.

Фуракава высоко поднимает рюмку, снисходительно улыбается.

— Компай!
— Компай!

Они дружно закусывают. Больше всего им нравится наш российский сыр.

— И сувенира и мэра и города и для зацем?
— Таков обычай. Породненные города обмениваются делегациями, при оказии посылают памятные сувениры, напоминают о дружбе.
— И мозно и посмотреть и сувенира?
— Конечно, пожалуйста.— Из спальной комнаты я вынес для обозрения электросамовар и расписную палехскую шкатулку. Гости долго, словно восьмое чудо света, разглядывают самовар, заглядывают внутрь, стучат пальцами по шкатулке.
— И оченно и коросая и сувенира. И дорогая сувенира...
— Значит, высоко ценят дружбу.
— Ивана-сан и знакомый мэра и Киото и Иокогама?
— Знаком с мэром Иокогамы. Мэра Киото никогда не видел.
— И где и знакома и мэра Иокогама?
— В Одессе, на выставке.
— И мэра и Асуката-сан и коммуниста?
— Не знаю, но думаю, что он не коммунист.

— И социалиста?

— Не знаю, не интересовался.

— Компай!

— Компай!

Зачем все эти сведения деловым людям? Какое они имеют отношение к бизнесу, к марганцевой руде в наших трюмах?

— Как же поступить мне с сувенирами? — спрашиваю своих гостей.

— И ництво, и все карасо. И мы мозем забрать и сувенира и передать и мэра.

Я пропустил эти предложения мимо ушей.

— Надо было бы позвонить в Иокогаму и в Киото по телефону, но как это сделать? Я не знаю языка.

— И ництво и не нада. И мы узе и позвонила и мэра и говорила приедут и скоро.

— Они обещали приехать? Когда?

— И сегодня и вецером.

Уголком глаза я заметил, что Хаватачи что-то достал из кармана пиджака и, делая вид, что вытирает губы, отправил в рот несколько таблеток. Одна серая пилюля, по его неосторожности, упала на пол. Хаватачи поднял ее и выбросил в открытый иллюминатор. Так вот почему их не берет наша сорокаградусная!

— Антиводка? — спросил я своего оплошавшего собеседника.

Он поспешил объяснить мне назначение таблеток:

— И медикамента,— Хаватачи ткнул пальцем под ложечку,— и оченно и болит зивота.

— Вам нельзя пить водку. Да и какой смысл, если ее действие нейтрализуется?

Все трое добродушно заулыбались и утвердительно закивали головами. Так обычно поступают иностранцы, когда им все понятно, но ответить по существу нечего. И тогда понятное пропускается, как проходная фраза.

Из черной кожаной папки Нанае извлек большой лист бумаги и протянул его мне. Хаватачи разъяснил:

— И ето и послание сефа и полиции.

Русский текст, исполненный каллиграфическим почерком и размноженный светокопировальной машиной, гласит:

«Извещение

Мы, японские полицейские власти, делаем все возможное для прибывших в наш порт после длительного плавания.

Мы стараемся, чтобы вы приятно провели время и хорошо отдохнули. Однако мы опасаемся за возможные недоразумения между вами и японцами, потому что вы не знаете японского языка и не привыкли к японским обычаям.

Если вы окажетесь в беде или пострадаете от какого-либо преступления, немедленно сообщите об этом любому полицейскому в ближайший полицейский участок.

При увольнении на берег соблюдайте следующие правила:

1. Имейте при себе пропуск, выданный иммиграционными конторами.

2. В связи с частыми несчастными случаями на улицах японских городов, при движении по улицам держитесь правой стороны.

3. Кафе, кабаре, рестораны работают до 23 часов.

4. При остановке в гостинице необходимо назвать вашу фамилию, имя, возраст, ваше судно и т. д. администратору или директору гостиницы.

Начальник полицейского управления
города Фусики».

Далее сообщались телефоны полицейских участков, таможни, иммиграционной службы в Фусики, Такаоки и Синминато.

Пока я читал послание начальника полиции, троица о чем-то громко спорила между собой. Нарочито отчетливо выделялись слова: «Накано», «Хидака», «Ито», «Баба», «Кокинокидзака». Из всего этого набора мне было знакомо по литературе о Японии одно слово: «Накано» — знаменитая японская школа армейской разведки. Услышав внятно произнесенное несколько раз «Накано», я уже стал улавливать и запоминать и те другие слова, которые явно адресовались мне. Их значение я расшифровал позже с помощью японских друзей. Это были известные названия местных разведывательных служб. Видимо, все трое с разных сторон наблюдали за мной, как я на эти имена реагирую, знакомы ли мне такие слова или я их впервые слышу. Естественно, я никак не реагировал по простой причине незнания этих слов.

Для чего была разыграна вся эта комедия? Может, они проверяли мои познания в японском языке?..

Не знаю, за кого меня приняли, но мне было смешно и грустно. Трудно угадать, что послужило поводом, чтобы моя скромная личность так насторожила службу безопасности и заставила уделить мне максимум своего внимания. Если подозрения вызваны моими радиограммами, то это по меньшей мере глупо. Не исключено, что я оказался одной из жертв общей напряженности в стране.

В те годы Японии вскружило голову «экономическое чудо». В четыре раза был превышен довоенный уровень промышленного производства. Но, кроме «чуда экономического», на островах Страны восходящего солнца происходили и другие потрясающие чудеса. В складе 267 роты американских химических войск, расположенных на Окинаве, вдруг потекли снаряды с боеголовками, начиненными нервнопаралитическим газом «ГБ» (табун). Попадая в легкие, этот газ способен убить человека в течение нескольких секунд.

Чрезвычайное происшествие всколыхнуло всю страну. Население решительно требовало убрать с японской территории американские склады, хранящие смерть. Бурные демонстрации протеста запрудили улицы больших городов, население выступает против захода в японские порты американских атомных подводных лодок.

Тем временем троица расхрабрилась и, уже не ожидая приглашения хозяина, сама поднимает рюмки.

— Компай!

— Компай!

Мне уже изрядно надоели мои непрошеные гости, а они не подают никаких признаков скорого прощания. Гости довольно основательно расположились в моей каюте. Допита бутылка «Столичной», съеден российский сыр. Пополнять запасы стола нет никакого желания. Меня ждут судовые дела, и ко всему надо еще решить судьбу чека Внешторгбанка СССР, выписанного в Москве на получение японской валюты в Токийском банке. Теперь, когда мне въезд в столицу запрещен. как быть с этой проблемой?

Но первым делом надо раскланяться с господами. И как бы это сделать потактичнее? Позвонил бы сейчас капитан, пригласил бы к себе по какому-нибудь вопросу, так нет же, никто, как назло, не звонит. А все трое сидят и в ус не дуют, курят сигареты, разглядывают книги, балагурят. Я взглянул на часы и поднялся.

— Извините, пожалуйста, позвоню, меня ждет капитан.— Снял трубку, набираю номер. Слышу голос Михаила Сидорчука: «Капитан слушает». А я ему свое: «Хорошо, Михаил Каллиникович, сейчас иду». Он замолкает и, наверное, думает: «Что-то странное происходит с первым помощником». Но ничего, посмеемся вместе над вынужденной и, может, грубоватой изобретательностью. Я опять извиняюсь перед гостями.

— Простите, пожалуйста, но меня срочно вызывает капитан.

— И позалуста, и позалуста, и карасо,— успокаивает меня Хаватачи,— и мы подоздем и посидим.

Ну это уже нахальство. Оставаться в каюте без хозяина, да еще представителям таких ведомств — совсем нежелательное дело.

Я стою посредине каюты, мне как-то неловко, и я не знаю, как поступить дальше. Господин Нанае преподносит мне японскую зажигалку.

— И позалуста и возьмите, и ето презент Нанае-сан.

— Спасибо.

Глядя на Нанае, я вспомнил слова Лаокоона: «Боюсь я данайцев, дары приносящих». Нанайцы — данайцы, у них много общего.

— Компай!

— Компай!

Они допили остатки в рюмках, и в это время зазвонил телефон.

— Чего же вы, позвонили и не идете?

— Сейчас, сейчас, тут у меня гости, иду,— положив трубку, я повторил извинение и добавил: — Я, вероятно, задержусь долго.

Кажется, они сообразили, чего я добиваюсь от них.

— И очепно и карасо, и мы идем и тозе.

Все трое поднялись и вышли в коридор. Закрыв каюту, я протянул руку первому господину Фуракава, считая его старшим по возрасту, по положению и, надо полагать, что и по званию.

— И нет, и нет, и не надо,— запел Хаватачи,— и мы все и остаемся.

Я поднялся по трапу к капитану и только начал ему рассказывать о своих приключениях с незваными «данайцами», как в дверь постучали. На пороге появились те же три господина.

— Пожалуйста, присаживайтесь,— пригласил их капитан. Теперь они его гости.

— Ваш чек при себе? — спросил Михаил Сидорчук.— Я договорюсь с агентом фирмы, он выяснит...

— Спасибо, сейчас принесу чек.

Не успел я закрыть сейф и спрятать в карман чек Внешторгбанка, в дверях моей каюты уже стоял, улыбаясь, Хаватачи.

— Извините и вы не имеет и таблетки от зивота? — Он двумя руками держался за живот.

— К счастью, желудком не болею, к сожалению, таблеток не имею,— бросил я сухо,— обратитесь к нашему врачу.

— И спасиба, и мозет, и капитана имеет и таблетка?

Следом за мной он пошел к капитану. Так что же это, вот так и будет ходить за мной хвостом? Нет, я не потерплю преследования и слежки на суверенной территории под советским флагом. Такое долго продолжаться не может.

Я вручил чек капитану, но его перехватил Нанае. Он внимательно изучил денежный документ и сунул в боковой карман пиджака.

— О'кэй, капитан! Завтра мы все выясним,— сказал он по-английски.

За время моего отсутствия Нанае успел пригласить нас в гости к себе домой. Он даже план начертил, где живет и как туда проехать. Причем план захватил целый регион: город Такаока — на юге, Синминато — на западе, а он проживает севернее от Фусики в поселке Хими, по дороге к городу Нанао. Старательно изобразил линиями дамбы и дорогу, квадратами — насосные станции, кружками — автобусные остановки, конусами — электротрансформаторные узлы. Странно. Зачем нам такие щедрые подробности, если он собирается лично отвезти нас своей машиной?

Перед тем, как покинуть капитанский салон, я взял чертеж Нанае, так, между прочим, от нечего делать, повертел его перед глазами, аккуратно сложил вчетверо, пальцами тщательно проутюжил линии изгиба, еще сложил вдвое и медленно стал рвать на кусочки. Несколько минут я комкал бумаги, сбивая ее в шарик, а потом выбросил за борт.

ТРИ НЕПОЛНЫХ ДНЯ

25 апреля 1969 года

Господин Нанае увез нас в Хими. Господа Фуракава и Хаватачи остались на судне. Видимо, у них есть дела по «сырью» и по «импорту».

Отличная шоссейная дорога. Ажурным бисером цветет сакура. Дым и гарь заводов забивают запахи апрельского цветения. Впрочем, говорят, что вообще яркие цветы Японии почти не имеют запахов.

Дамбы, насосные станции, трансформаторы — все, что было начерчено в плане, не попадалось в поле нашего зрения. Все осталось где-то на юге и на западе.

Фанза Нанае — новая, уютная и скромная. Здесь нет ничего лишнего, да и сама миниатюрность помещений не позволяет излишеств в мебели и украшении. Из коридорчика дверь ведет в комнату европейского стиля: ковер на полу, стол, стулья, холодильник, телевизор, портрет императора Хирохито. В золотой вазе веточка с ярко-зелеными листьями и единственным фиолетовым цветком. На этом фоне нежно-розовый стебелек цветущей сакуры и сухая, замшелая ветка — произведение икебаны — школы искусства составления букетов. Просто, оригинально, красиво.

Нанае — «сторонник мира». На большом ватманском листе фломастером он написал для нас лозунг, выражающий его кредо: «Пусть процветает мир на земле!» Написал японскими иероглифами. Кто знает, что там написано.

— Почему Америка нарушила нейтралитет Камбоджи? — спрашивает капитан.— Почему так варварски бомбят мирную землю американские летающие крепости?

Нанае отвечает убежденно и горячо.

— Потому что Америка хочет мира во Вьетнаме, а на территории Камбоджи — вьетконговские базы.

Теперь ясно, за какой мир ратует господин Нанае. Мир покорности диктату силы.

— А по какому праву Америка ведет войну во Вьетнаме? — наседает на него капитан.— Разве Вьетнам угрожал Америке?

— Коммунисты угрожают всему миру,— не сдается хозяин.

— А Америка своим империализмом миру не угрожает?

Нанае хитро улыбается и молчит.

После рюмки коньяку хозяин приглашает в основную часть фанзы. Здесь все в национальном японском стиле. Европейская комната служит как бы гостиной, буфетом аперитива. У порога мы сбросили обувь. Нанае совсем преобразился: в мужском кимоно он типичный самурай, словно сошедший с этнографической открытки. На полу циновки. В центре комнаты между двумя коротконогими столиками в виде круглой вазы электроплита, прикрытая сверху широким керамическим тазом с дном, убывающим на конус. В нем кипит соус, заправленный кусочками брынзы, мяса, рыбы, грибов, молодых побегов бамбука, лука, моркови, агар-агара, капусты — в общем, там собрано все съедобное, что только можно соединить, не опасаясь образования химической взрывоопасной смеси.

На столе маленькие пиалы с подогретой, чуть зеленоватой рисовой брагой, лепешки и пиалы побольше размером для пищи. Рядом пара костяных палочек и для нас, европейцев, ложки и вилки. Орудовать хаси не так уж сложно. Это искусство мы освоили в течение часа, но до одурения мучительно без привычки сидеть на полу, подобрав под себя ноги. Через десять минут мои ноги заныли, стали терпнуть, деревенеть, и мне приходилось вставать и продолжать ужин стоя, в полусогнутом положении или брать пиалу в руки.

Пол для японцев — это нива их жизни. На нем они проводят большую половину своих лет от рождения и до смерти: на полу мастерят и спят, едят и отдыхают, воспитывают детей и пьют чай. «Вероятно, оттого, что у нас немного земли, мы боимся от нее отрываться»,— сказал мне в Одессе господин Ямада из Иокогамы.

Заколыхалась ширма из звонкого бамбукового мониста, прикрывающая дверь, и на пороге появилась ползущая на коленях женщина с опущенной в поклоне головой. В руках она держала расписной поднос с фруктами. У меня было желание поднять ее, поблагодарить за гостеприимство и попросить не опускаться до такого унижения хотя бы при нас. Но обычай есть обычай и со своим уставом в чужой монастырь соваться не следует.

Женщина поставила поднос на стол и, не поворачиваясь к нам спиной и низко кланяясь, уползла на коленях в коридор: это была мать господина Нанае. Где-то в фанзе находилась и его беременная жена, но ее не видно и не слышно. Как же могла богиня солнца Аматерассу Омиками, женщина по своей природе, наделить мать, жену, сестру, дочь столь бесправной и тягостной судьбой?

Только после войны японская женщина обрела право голоса. По новой конституции она — равноправный член общества, но закостенелость традиций, видимо, оставила женщину в семейных отношениях и в домашнем быту в

тех же строгих нормах бессловесного повиновения мужчинам. Женщина первой кланяется мужчине; на улице она идет только позади мужа; дома она не принимает участия в мужском разговоре и не сидит за одним столом; рождение дочери не приносит радости в семье. Еще недавно за девушку платили от трех до десяти тысяч иен, а лошадь стоила 36 тысяч иен. До сих пор бытует старая японская поговорка — «жена и кастрюля — чем старше, тем лучше». Поразительно эгоистичны представители мужского сословия — потомки наивысшей божественной расы ямато, до сих пор сохранившие для женщины удел рабыни.

Перед чайной церемонией мы обратили внимание на портрет бравого сержанта японской армии при всех доспехах, орденах и медалях.

Нанае с прискорбием объяснил:

— Мой отец. Он бил русских во время войны России с Японией.

В этих словах мы не почувствовали хваленой японской тактичности по отношению к гостям. Наверное, в самурайском доме это считается хорошим тоном. Видимо, желая сгладить бестактность, Нанае тут же поспешил сообщить для равновесия, что в августе 1945 года русские убили его дядю — солдата Квантунской армии.

— Только смерть на войне открывает мужчине врата рая,— напомнил этот сторонник мира старую самурайскую поговорку.

26 апреля 1969 года

С утра в моей каюте толкутся вчерашние гости. Хавачи почти не расстается со мной. Нанае и Фуракава часто проведывают нас. После вчерашнего визита к Нанае как-то неудобно выставить их за дверь. Очевидно, они хорошо изучили психологию доброго русского человека

и пользуются его слабостями сполна. Хаватачи принес мне подарок, хотел порадовать.

— И позалуста и мой презент,— он протянул мне тяжелый конверт,— и очення и карасива и Америка продает и Япония.

В конверте набор до гадливости похабных порнографических открыток. Я вернул их ему обратно.

— Эти «художества» превращают человека в скотину, — объясняю Хаватачи, — теряется святое таинство интимности, опустошается душа, развивается цинизм, стремление к извращениям. Порнография у нас преследуется законом.

Напрасно я читаю ему лекцию. Он долго смотрит на меня немигающими глазами, ничего не понимая. Я забрал из его рук конверт, достал зажигалку и только собрался поднести огонь, как Хаватачи вскочил с места и, замахав руками, закричал:

— И не надо, и не надо. И ето дорого и стоит,— он забрал эту гадость из моих рук, спрятал в боковой карман пиджака и, улыбаясь, замял «инцидент» поговоркой,— и сутить и надо и с передыской.

Хаватачи сидит на диване у овального столика. На нем разложены блокноты, авторучки, зажигалка, сигареты. Я уселся за свой письменный стол. На нем стопка листов чистой бумаги.

«Традиционные поклоны и угодливые улыбки — отличная маска. За ней трудно уловить ход мыслей собеседника. Еще труднее определить его истинное стремление, чего он хочет от тебя. Друг он твой или недруг. Вечная загадка. В хитрости они способны перехитрить самих себя»,— наскоро записал я на стандартном листе бумаги пришедшие в голову фразы. В этот момент появились Фурукава и Нанае. Я перевернул лист бумаги написанным вниз, чтобы потом без свидетелей перенести эту запись в свой дневник.

Нанае вернул мне чек Внешторгбанка, а Хаватачи обрадовал:

— И нициво и не выходила. И только мозна и давать деньга и Токио.

Проблема чека остается нерешенной. Я поблагодарил их за заботу и пошел в спальную комнату, чтобы спрятать чек в сейф.

Троица о чем-то говорила между собой. Фуракава и Нанае торопились к капитану. Мы снова остались вдвоем с Хаватачи.

— И позалуста и можно и таблетка и от зивота.— Как и вчера, Хаватачи схватился за живот и опять просил желудочные пилюли.— И много таблетка и много...

Судового врача в своей каюте не было, его телефон не отвечал.

— Появится доктор, я попрошу у него таблетки.

— И очennо и спасиба.

Никакие таблетки ему не нужны. Просто он продолжает замазывать свою оплошность, стараясь разубедить меня в том, что вчера уроненная пилюля вовсе не предназначалась для нейтрализации алкоголя.

Мне нужно было записать два японских слова: обращение «хай», соответствующее нашему «эй», и утверждение «гай» — нашему «да». Но листа, на котором я только что записал несколько фраз, не было. Что за чертовщина!? Переворошил несколько листов стопки бумаг, заглянул под стол, осмотрел пол — лист исчез, как в воду канул. Я уставился в глаза улыбающемуся Хаватачи.

Его лицо оставалось невозмутимо спокойным и герметически непроникновенным.

— И нета? — невинно спросил он.— И мозет и ветера и дверя открыла и ветера фу-хим, и улетела.

— Когда открывалась дверь, я сидел за столом и никакого «фу-хим» не было,— отрезал я.— Мне рассказывали друзья, что советский буксир-спасатель зашел в японский

порт с зачехленными гидромониторами для размывки подводного грунта и тушения пожаров. Так вот ваши представители «экспорта», «импорта» и «сырья» приняли гидромониторы за ракеты, крутились они, вертелись, украдкой фотографировали, пока эта возня не надоела капитану. Он расчехлил «ракеты», и ударили такие струи воды, что достали фотографов, скрывавшихся за штабелями леса.

— И очченно и смесно,— смеялся Хаватачи, прикидываясь, будто он ничего не понял, к чему я клоню.

— Вот так и вы, Хаватачи-сан, не за того меня принимаете. И мне тоже надоела ваша возня.— Я вынес из спальни мелкокалиберную винтовку и свисток.— Все, что я могу вам расчехлить: это для соревнования по стрельбе, а это...— и я громко засвистел на все судно.

Хаватачи от смеха упал на диван.

— И очченно и смесно.

Оправившись от хохота, Хаватачи спросил:

— И зацема и вы ни ходить и в города?

— Вам уже надоело сидеть в каюте? —спросил я.— Погулять захотелось?

Неотразимая улыбка играет на его лице.

— И я будем и с вами и показать и города.

— Я не хочу выходить с судна.

Черт возьми! Я жду представителей мэров, а их нет, как нет. Они могли и не позвонить о моем прибытии. И радиограммы могли задержать. «Служба упреждения, путаницы, забывчивости и крепкой памяти» — все может. А я жду.

Единственная надежда на портового агента грузополучателя. Пока что в течение двух дней я ничего не могу понять.

27 апреля 1969 года

Сегодня в моей каюте большой прием. Из Иокогамы прибыл посланец мэра города Маточиге Курихара — шеф департамента по иностранным делам, симпатичный, рассудительный человек, с утонченными манерами хорошо вышколенного дипломата. Он вручает нам свои визитки и передает сердечный привет и сувениры от мэра Иокогамы Ичио Асуката, его супруги Юкико и от всех моих знакомых, побывавших в Одессе. В нашей встрече, по моей просьбе, роль переводчика взял на себя капитан Михаил Сидорчук, свободно владеющий английским языком.

У овального столика вовсю работает «секретариат»: Фуракава, Нанае и Хаватачи записывают каждое названное имя — будь то японское или советское.

— Господин Асуката принимает самые энергичные меры, чтобы ваше пребывание в Японии и в нашем городе Иокогаме было приятным и полезным,— говорит Маточиге Курихара,— господин Асуката поручил мне выяснить, каким временем вы располагаете и сколько дней сможете пробыть в Иокогаме, оказав нам честь?

— Благодарю господина Асуката и вас, господин Курихара, за внимание и заботу. Мои планы позволяют пробыть в Иокогаме в течение суток. Приношу свои глубокие извинения за причиненные вам хлопоты.

Я победоносно взглянул на «трио»: еще посмотрим, братья, кто из нас окажется на коне. На моей стороне два мэра крупнейших городов, и своим авторитетом они одержат верх над вашим самодурством.

Процедуру передачи памятных сувениров можно было ускорить, вручив господину Курихара все предметы в упаковке. Но я решил до конца удовлетворить любопытство моих оппонентов.

Не спеша распаковал самовары, снял крышки, заглянул и подул внутрь, опрокинул вверх дном. По каждой

шкатулке постучал пальцем, даже серьги встряхнул, предназначенные госпоже Амаио Юкико. И каждый сувенир передавал «секретариату».

Вначале господин Курихара ждал от меня чудодейственных эффектов иллюзиониста. Он и сам заглянул в бачок самовара, но оттуда не вылетел петух и не выскочил кролик. Потом по тщательному осмотру каждого предмета он все понял. Нет, комедия эта вовсе не плод моего чудачества. Она была продиктована необходимостью убедить службу безопасности, что сувениры есть сувениры, и в них не заложены никакие «тайные коммунистические шифры».

Господин Курихара поблагодарил за подарки мэра города Одессы, и мы подняли бокалы с шампанским за доброе здоровье мэров Иокогамы и Одессы, за крепкую дружбу городов-побратимов.

28 апреля 1969 года

Японские докеры работают четко и слаженно. У них высокая культура и организация труда. Рассчитано и выверено каждое движение в рабочем цикле плюс внутренняя самодисциплина.

Еще не окончена швартовка, а докеры уже выстроились на причале в шеренгу, ждут, когда спустят трап. К трюмам они бегут, словно солдаты в атаку. И сразу, без раскачки берутся за дело. Во время работы никаких перекуров, никаких разговоров. Ни одного лишнего слова, лишнего движения.

На гак грузового крана прицепился метровый канатик. Если он свалится — вреда никому не принесет. Но это — непорядок. Резкой трелью врывается свисток бригадира. В одно мгновенье остановились люди и машины, словно выключили рубильник. Канатик сняли, его не

бросили под ноги, а отнесли в склад. И снова пронзительный свисток бригадира щекочет уши. Рубильник включен — и все завертелось в том же темпе. До автоматизма роботов людей довели страх перед безработицей и потогонная система. Но производительность труда и качество исполнения работ высокие.

Нанае и Фурукава с утра обрабатывают капитана. Вот-вот в порту Фусики должна вспыхнуть забастовка докеров. И хотя они усердно трудятся, ничем не выдавая свой замысел, их планы уже проданы. Забастовка грозит нам простоем, а грузополучателю — неустойкой. Нанае лезет из кожи вон, стремясь доказать Михаилу Каллиниковичу, что простой судна одинаково не выгоден как одной стороне, так и другой. Политический аспект забастовки он оставляет в тени.

— У вас срывается выполнение рейсового плана, у нас намечается перевыполнение плановых расходов. Выход один: перейти в соседний порт Отаяма.

Их расчет коварен и прост: до объявления забастовки переадресовать наше судно в другой порт, оставить докеров без работы и таким образом сорвать локальную забастовку.

— Мы готовы перейти в любой порт,— соглашается капитан.— Но все расходы: за потерянное время, за переход, портовые и лоцманские сборы и все другие затраты — за счет грузополучателя.

Господа вздыхают, кривятся — молодой капитан, а несговорчивый. Но что поделаешь, все по закону. Нанае обещает переговорить с фирмой и сообщить позже окончательное решение.

Широко их поле деятельности, они воистину вездесущи. На прицеле у них не одни иностранцы. Служба зорко следит за своим рабочим классом, за благополучием фирм и даже за деятельностью мэров городов. Глубокая демократия!

В моей каюте Хаватачи зондирует почву в другом направлении:

— И сказите и позалуста и если не будет и наси люди и работать на крана. И васа матроса и смозит и поработать и на крана?

— Значит, рядовых штрейкбрехеров вы нашли? У вас нет специалистов — крановщиков? Наши матросы штрейкбрехерами не будут.

Хаватачи кивает головой, утверждая каждое мое слово.

— И сто и такое и «стрей-брей»? И не понимая,— прикидывается он,— гай-гай-гай, и я и понимая и понимая — и матроса и не хотела и работа? И хоросая деньга и заплати и Фусики.

— Ни за какие деньги. Солидарность выше, понимаете?

— И понимая, и очении и карасо. И спасиба. И одна и дура́ки не хоцет и деньга...

В четырнадцать ноль-ноль мы прервали разгрузку и снимаемся на Ниигату — наш очередной плановый заход. Вероятно, порты договорились между собой о последующих расчетах за прием части груза, адресованного порту Фусики. Тут мы бессильны, право на стороне хозяев.

Мы покидаем Фусики. На причале машут руками Фурукава, Нанае и Хаватачи.

ЯПОНСКИЕ «РОССИЯНЕ» И РУССКИЕ «ЯПОНЦЫ»

Туманным утром мы выбрали якорь и с густонаселенного рейда тронулись к причалу. С застопоренной машиной, используя инерцию, судно втягивается в горловину порта, скользит мимо судов, покидающих Ниигату.

Высокий нос танкера «Ваян мару № 1» навис над кормой «Металлурга Курако». Еще секунда — и железная махина в балласте врежется в корпус нашего судна. Остались считанные сантиметры.

Суетятся матросы, угадывают вероятные точки касания, подтягивают к ним кранцы, чтобы смягчить удар. Капитан нервничает.

— Что он, пьяный?

— Конечно,— спокойно отвечает лоцман.— Сегодня день рождения императора.

«Металлург Курако» имеет большую инерцию, капитан вынужден ее увеличить. Он передвинул ручки машинного телеграфа со «Стоп» на «Малый вперед», чтобы уйти от удара. Ну и ну! Мы чудом избежали навала.

— Когда-то японцы относились к трезвенникам,— сетует лоцман,— теперь этого не скажешь, напиваются до потери видимости. Девиация западной цивилизации.

На ожидающем нас причале стоит автомашина палевого цвета и маячат две фигуры. Невероятно. Нас встречают Фурукава и Хаватачи — «сырье» и «импорт». Трио распалось, остался дуэт.

— И здрастуй и позалуста,— протягивают нам руки старые знакомые.

Какое-то наваждение. Стоит мне открыть каюту, как ее снова оккупируют неотступные призраки. Нет, буду отсиживаться в кают-компании. Но мое решение выполнялось не более часа.

На борт судна поднялся секретарь мэра города Ниигаты Масао Итиока, симпатичный молодой человек, хорошо владеющий русским языком. Его он изучает много лет, год совершенствовал в Москве, часто бывает в Хабаровске — городе-побратиме Ниигаты, старается почаще встречаться с русскими, чтобы поддерживать разговорную практику.

Сегодня мэр Иокогамы звонил по телефону своему коллеге в Ниигате и просил оказать всяческое содействие в моих делах. Об этом же самом просил и мэр города Киото. Масао Итиока, выполняя поручение своего шефа, уполномочен передать самые сердечные приветы и наилучшие пожелания двух мэров, к которым присоединяется и мэр Ниигаты, готовый принять самое деятельное участие в разрешении всех проблем, возникших на моем пути.

С господином Итиока мы направились в каюту. За нами увязался Хаватачи. Пропустив гостя первым, я переступил порог за ним и перед самым носом Хаватачи закрыл дверь. Хамский поступок? Да, бестактность за бестактность. Имею я право, в конце концов, поговорить с человеком без посторонних?

— Господин Асуката безмерно благодарен за внимание, за верную дружбу, которой он гордится и всегда помнит о теплых встречах в Одессе, за сувениры, достойные солнечной Украины,— начал секретарь.— Господин Асуката ждет вас и выделил из бюджета своего времени двое суток, в течение которых уделит вам в Иокогаме максимум внимания.

— Благодарю. Значит, вопрос с моим выездом решен?

— К сожалению, ваш выезд власти пока не санкционировали, вопрос решается...

— И есть надежды?

— Как будто бы есть. Но знаете, наши власти очень упрямы в своем консерватизме.

— Вы можете объяснить, что произошло? Почему я попал в немилость?

Господин Итиока улыбнулся, прикрыл глаза веками.

— Это известно только высокому начальству — полиции. Чем я могу быть полезен?

Я попросил еще раз проверить в местном банке, можно ли по моему предъявительскому чеку получить деньги

в японской валюте. Вдруг разрешат выезд, а в моем кармане не окажется нужной суммы для поездки. Масао Итиока спрятал чек Внешторгбанка в свою папку, исполосованную замками «молниями», и пообещал сегодня же выяснить интересующий меня вопрос.

В дверь постучали. Как ни в чем ни бывало, с сияющей улыбкой вкатился Хаватачи и сразу уселся на свое штатное место у овального столика.

— И сиводня и больсая и праздника — родился и наса императора. И вся Япония и давай-давай и гуляй-гуляй.

— Вы понимаете, о чем он говорит? — спросил меня секретарь мэра.

— Все понимаю.

— А я с трудом разбираю отдельные слова.

— В таком случае я готов быть вашим переводчиком.

Хаватачи успел где-то хлебнуть спиртного, и его назойливость стала совершенно невыносимой. А что же таблетки? Неужели он столько хватил, что действие пилюль оказалось бессильным? Нет, видимо, по случаю праздника отказался от таблеток, разрешил себе покуражиться, а заодно и русским показаться в пьяном естестве, «реабилитировать» себя в их глазах.

— Живот не болит? — спросил я его.— Таблетки вам не нужны?

Размахивая руками, он вертит головой:

— И не нада, и зивота и не болита, и не нада.

Безудержная болтовня об императорской семье, о принцах и принцессах, о прямых и резервных наследниках престола, всякая ахинея о князьях Японии, и после всего этого словесного винегрета он встал и запел гимн «Камигаё».

На его «трубный глас» явился судовой инспектор господин Чимура — мой дважды тезка. Иван Петрович Чимура православного вероисповедания, русский язык

выучил во Владивостоке, где находился в плену с 1904 до 1907 года. Там же ему присвоили русское имя и отчество, православие он принял в Японии до плена.

— Подзарядился крепко,— комментирует поведение Хаватачи Иван Петрович,— сегодня вытрезвители соберут хороший урожай. В Токио недавно открыли новый вытрезвитель. Говорят, что в нем уже два человека сошли с ума, но запои как рукой снимает. Человек просыпается утром и не может сообразить, что с ним происходит, каким образом он спит... на потолке, побеленном известью, рядом с висящей электрической лампочкой. А над ним, вверху, паркетный пол, диван, стол и стулья. На столе графин с водой, пивные кружки, разбросанные окурки и пустые бутылки из-под виски. Человек замирает в страхе, боится пошевелиться, чтобы не упасть с потолка. В страшном кошмаре он не в состоянии понять, как могли поменяться местами пол с потолком и как он сам удерживается, не падает сверху вниз. Надо же было допиться до таких невероятных превращений! Потом начинается истерика... А секрет «фокуса» прост: пол оформили видом потолка, потолок — всеми бытовыми аксессуарами пола.

Пришел господин Фурукава и увел с судна своего подгулявшего соратника. Кажется, на время избавлюсь от непрошеного спутника. Господин Итиока уехал в город, он обещал наведаться к вечеру, сообщить, что нового удалось ему выяснить в моих делах.

Чимура подарил мне богато иллюстрированную книгу «Япония сегодня», изданную департаментом общественной информации на русском языке.

— В книге все очень красиво выглядит,— скептически заметил он.— В жизни все намного хуже. Я не узнаю своей страны. Все меньше и меньше в Японии остается японского. Наше небо принадлежит американским самолетам, воды Японии — американский суп с атомными

клецками — подводными лодками, земля японских островов нафарширована американскими военными базами. Кинофильмы, шоу, виски, порнография, кока-кола, сигареты, жвачка — все американское. И самое страшное — американские нравы овладевают японцами. Я спрашиваю: где же теперь восходит солнце империи восходящего солнца? По-моему, в Америке в виде круглого доллара. Японская нация всегда славилась самобытностью и высокой нравственностью. А теперь? Гангстеризм, наркомания, алкоголизм, разврат, взяточничество разъедают наше общество.

— Что нового в мире? — спрашиваю Чимуру.— Почти два месяца не видел газет.

— На днях в токийском отеле восьмидесятилетняя американская туристка сломала вставную челюсть. Она осматривала ванну из чистого золота и попробовала отгрызть кусочек «на память» — сенсация!

— Но это частный случай.

— Золото? Это глобальное безумие мира. Из-за него все беды планеты. Американцы засыпают бомбами Камбоджу. «Боинги» по тридцать тонн пятисотфунтовых бомб сбрасывают на бедную мирную страну, и все ради золота. Его или отбирают у народа, или защищают от народа.

— Что же происходит в Камбодже?

— Тут и отбирают и защищают. Налогами отбирают у американцев, бомбами защищают от кхмеров.

— А для кого защищают?

— Для себя. Для миллиардеров, делающих бомбы. Маршал Лон Нол — это маршал Ноль. Он будет рассчитываться с теми, кто утвердит его в стране кхмеров, если это удастся. Вы задумывались, кого себе в друзья выбирает Америка? Чан Кай-ши, Бао Дай, Нго Дин Дьен, Тхиеу, Новосован, Ли Сын-ман, Пак Чжон-хи, Лон Нол — феодалы, узурпаторы, авантюристы, политические банкроты,

ни одного авторитетного, демократически настроенного человека, все те, кого народ отверг и презирает.

— А лозунги? «Свободный мир», «Защита демократии»...

— Это «Добро пожаловать!», написанное на воротах крематория или тюрьмы. Я пережил три войны и, когда слышу о четвертой, готов кричать на весь мир. «Распусти твою армию, употребляй все те деньги, которых она тебе теперь стоит, на то, чтобы научить своих подданных и развить земледелие. И тогда тот народ сам собою прогонит своего властителя и покорится тебе!» — это сказал за пятьсот лет до рождества Христова Конфуций. Он, кажется, не был коммунистом.

— Мир забывчив. Он устремлен вперед, и ему некогда совершать экскурсы в прошлое.

— Мир околдован золотом. Забывчивость — соратник неправды. Японцы рождаются синтоистами, умирают буддистами, а живут конфуцианцами. Но прикидываются «колодезными лягушками, не знающими об океане».

Иван Петрович взял со стола книжку «Япония сегодня», перелистал несколько страниц и остановился.

— Хорошо написано: «Мы, народ Японии, желаем мира на вечные времена...» Так гласит конституция, и это истинная правда, народ за вечный мир. В статье девятой прямо сказано: «Никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается». Это записано в основном законе страны. А в жизни?

Он листает книгу дальше и показывает фотографию: стремительный полет американских «фантомов» с красными кругами на бортах и крыльях — японской эмблемой. Через несколько страниц цветная вкладка: четырехступенчатая ракета «лямбда».

— Вот вам морские, сухопутные, воздушные и прочие другие, забирающие у народа сотни миллиардов иен.

Он снова листает книгу и читает преамбулу к статье конституции об образовании:

— «Мы будем уважать человеческое достоинство и стремиться воспитывать людей, любящих правду и мир». Это написано для иностранцев,— предупреждает Чимура.

Он отшвырнул книжку на стол и разочарованно спрашивает:

— Где же правда? И как воспитывают людей?

Из кармана тужурки Иван Петрович вынимает японский журнал и открывает его слева направо.

— А это для японцев. Я спрашиваю: где тут мир? Где воспитание правды?

С первой страницы и до последней журнал населяют яркие фотографии в цвете: весело смеющиеся солдаты в пятнистых маскировочных костюмах, засады и дальномеры, танки, ведущие огонь, и вороненые пистолеты-пулеметы, вертолеты и десанты, парады и ордена, самолеты и летящие на землю бомбы, горящий напалм и трупы, подводные лодки и атомные взрывы, строящийся военный корабль и вручение ордена за боевые заслуги старому самураю.

— Вы думаете, мало у нас тоскующих по временам камикадзе (смертников), по их белым кашне? Они и сейчас вдалбливают в головы офицеров и солдат: «Жизнь тяжелее горы, смерть легче перышка». Они очень недовольны, ворчат: «Пропащая молодежь, отравленная ядом мира». А молодые не желают ценой своей жизни кому-то добывать чужое золото.

Мне хотелось перевести наш «политический» разговор в другое русло, и я спросил:

— Жизненный уровень японцев, по-моему, высокий?

— По-вашему, «высокий». Моряк, турист прошелся по городу, посмотрел, в магазинах всего полно. Купил

себе, что ему нужно,— и для него «высокий». А посчитай налоги на местного жителя, стоимость квартиры, коммунальных услуг, питание, одежду, постель, врачей, лекарства, детей, институты, транспорт? Получается: не разгонишься. За последние десять лет цены выросли вдвое, а забастовки не возместили и третьей части подорожания.

— А «экономическое чудо»?

— Уровень производства. Для рядового потребителя — это не то чудо. Но, слава богу, есть работа и нет войны. Почему и злит японца военщина: она пожирает деньги нашего народного бюджета и совсем не во имя мира. Триллионы иен тратят на новое оружие. Тихо создают его, тихо испытывают и уничтожают. А чертежи и вся технология — в несгораемые шкафы, пригодится.

«К вам пришли»,— сообщил по телефону матрос у трапа. Через минуту вахтенный штурман постучал в дверь, сопровождая европейца с японской фамилией Казаки Тимохака.

— Здравствуйте, землячки! — на чисто русском языке приветствовал нас и поклонился пожилой мужчина с пачкой газет, свернутых в трубку.

— Здравствуй, Тимоха, здравствуй! — ответил ему Чимура, дружески пожимая руку.

— Тимофей Свиридович Казаков,— представился русский «японец»,— принес вам советские газеты, недельной свежести, правда.

— Спасибо, Тимофей Свиридович, на газеты у нас голод.

Я разворачиваю «Правду», «Известия», «Голос Родины», и на душе становится теплее, светлее, уютнее. Так бывает всегда в далеком, чужом краю, когда встретишь родную газету — добрую вестницу жизни своей страны.

Японский «россиянин» Иван Петрович и русский «японец» Казаки Тимохака оказались старыми знакомыми,

и некоторое время они выясняли состояние здоровья друг друга, расспрашивали о жизни в семьях и на службе. Потом начались расспросы о Советском Союзе, о Сибири, о плавании, пока я не поинтересовался превратностями судьбы, забросившей Тимофея Казакова в страну крайнего Востока, совершенно чужую и непонятную русскому человеку.

— Долгая и смешная история,— попытался отмахнуться Казаков.

— Расскажи, расскажи, Тимоха,— поддержал меня Чимура.— Я раз пять слушал, и все равно интересно.

— Конечно, слушать интересно старого дурака, рассказывающего, что он был глупым и в свои молодые годы...

Он потер пальцами белые виски, вздохнул и усмехнулся горькой усмешкой проигравшего картежника.

— Сын полковника царской армии, напуганный отцом большевиками,— начал он свой рассказ,— в двадцать семь лет от роду бросил службу надзирателя над каторжниками-старателями в золотых приисках, прихватил малость золотишка и бежал из Красноярска в Монголию. Бежал своевременно. Через неделю Красноярск стал красным. Жил не тужил в Урге, так именовалась тогда столица — нынешний Улан-Батор.

Когда в Красноярск вступили белочехи, можно было вернуться назад, но власть Колчака не внушала доверия и казалась мне недолговечной. Кроме того, я побаивался военно-полевого суда: золотишко-то прихватил из царской казны. Так вышло, что я стал нейтральным, независимым и безродным — боялся красных и боялся белых. Да и в Урге мне было не так уж плохо. Пил и пел...

Раскинув руки, он заголосил дрожащим, старческим дискантом:

Жила-была Рассея — великая держава,
Ее, брат, растерзали налево и направо.

Достав платок, он протер слезящиеся глаза и повел рассказ дальше:

— Потом в Монголию хлынула белая рать: генералы, офицеры, заводчики, фабриканты, торговые люди — настоящее наводнение. Казалось, сюда переселилась вся Россия. Тогда я узнал о гибели отца в Иркутске и пил за упокой.

В двадцать первом грянула революция в Монголии. Целый обоз кочевых аристократов России пополз в Китай. Ван Суй Харбин! Только тут я ощутил, измерил временем и ногами, насколько велика Россия. Я бегу от нее и приближаюсь к ней.

В двадцать пятом началась революция в Китае. Подождал я до двадцать шестого — думал, успокоится. Не тут-то было. И многие тогда решили, что от революции нас может оградить только море-океан. На материке места нам нет. Через Корею бежал в Японию. Девять лет марафона привели меня в Симоносеки. В тридцать шесть лет начались мои странствия по Японии: Симоносеки, Токио, Ногая, Сендай, Ниигата.

В Урге, Харбине комитеты эмигрантов имели деньги и субсидировали беглецов. Для меня в Японии все кончилось. Мой золотой запас истощался. Золото, добытое в реке, утекало ручьем. В Ниигате женился на своей многотерпимой Ханако. Остепенился и осел, поменяв великий Енисей на сточную канаву — Ота.

Начался второй марафон в поисках работы. Языка не знал, обычаи чужие, непривычные, русских тут не любили. В каждом видели шпиона. Пошли дети, они просили есть. Их надо было одевать, держать в тепле. Слава богу, была у нас фанза, успел купить у брата жены. Просился в офицерский корпус — не взяли, в золотодобытчики — не допустили. Работал садовником, сторожем, грузчиком, швейцаром, копал канавы, торговал рыбой и хохотал над собственной дуростью. Кто гнал меня, дурака, с родины?

Чего я бежал от революции? Ну побегал немного — и домой вернись, блудный сын. Попроси прощения. Родина, она — мать, пожурит, оплеуху даст, но матерью останется.

После Халхин-Гола наступило горькое похмелье. Молился я всем богам, когда началась великая война Отечества. В тайне от всех радовался каждому успеху на фронте и в день Победы напился, кричал «ура!» и угодил в тюрьму. Моя же родина своей победой открыла мне тюремные ворота на свободу.

Марафон продолжается. Стал я владельцем транспорта — развожу газеты на велосипедной коляске. Читаю «Правду», и дух у меня захватывает, как широко и уверенно шагает моя Отчизна, и я плачу тайком от радости, а на глазах у всех хохочу. Все думают, что Казаки Тимохака весело, а я горько смеюсь над собой, дураком, промотавшим свои годы, прожившим в бегах свою жизнь. Только тем и отличился, что четверых сыновей на свет пустил...

Молчание, тишина. Только слышно тяжелое и частое дыхание Казакова, словно он пришел к финишу и переводит дух.

— За эти годы удалось побывать в Красноярске?

Он молчал, все еще борясь с одышкой.

— Нет. Я не смею переступить порог своего Отечества,— наконец проговорил он тихо,— недостоин я ходить по родной земле. Ничего доброго я для нее не сделал.

— А сыновья?

— Старший мой, Сусуму, побывал во Владивостоке... в плену. Солдат Квантунской армии. Работает шофером. Второй, Эйсаку, убит автомашиной. Сен — конторский служащий, и только младший — Иосиф — учится в кобэ, учителем будет.

В каюту заглянул Фурукава и вызвал Чимуру.

— Извините, освободился старпом. Условлюсь с ним, сколько берете воды,— Иван Петрович вышел.

— А кто этот второй? — спросил Казаков.

Я пожал плечами и протянул ему визитную карточку Фурукавы.

— Будьте осторожны. В их визитках может быть названа любая фирма и даже отрасль. Но таких точностей, как должность, они избегают. Многие знают русский язык. Во всяком случае, понимают его, но скрывают.

Тимохака поднялся. Протянув мне руку, он пожелал доброго пути Советской стране и нашему судну.

— Извините, Тимофей Свиридович,— остановил я Казакова.— А ваш знакомый, Иван Петрович, не из тех?..

— Не думаю. Лет двадцать знаю его, нет, он сам много страдал. Впрочем... «Бусидо» — японский кодекс морали — считает сбор полезных сведений как высочайшее проявление долга и чести каждого гражданина перед родиной. По сути, вменяется в обязанность каждому...— У самой двери он добавил: — Только последнее не относится к господину Чимуре. Он вполне порядочный человек...

КОНФЛИКТ

— Получить высшее образование в Японии, наверное, нелегко?

— «Детей надо учить, если для этого надо продать землю и дом»,— почти речитативом, словно читая молитву, отвечает на мой вопрос Масао Итиока,— ибо «высокого положения и богатства может достичь тот, кто стремится овладеть знаниями, тот, кто не пожелает приобщиться к наукам, будет бедным и ничтожным»,— это говорил просветитель Юкити Фукудзава.

— Вы намерены продолжать учебу?

— «Мы должны постоянно учиться друг у друга без ложного стыда и хвастовства, помогая друг другу и молясь о всеобщем счастье»,— тем же тоном отвечает Итиока и снова уходит от прямого ответа.

Резкими рывками вертит он баранку, мастерски пробираясь улицами Ниигаты, забитыми разнородным транспортом. Иной раз наш «жучок», как называет Итиока свою микролитражку, пролетает в миллиметрах от борта грузовика или мотоцикла, и я сжимаюсь в комок, ожидая удара. Но, к счастью, каждый раз все обходится благополучно.

В Японии левостороннее движение и рулевое управление расположено справа. Поэтому привыкшему к правостороннему движению кажется, что здесь очень сложно водить машину и вообще в движении транспорта отсутствует какой-нибудь порядок.

— Вы довольны своим положением в обществе?

— В обществе? Это очень много. Чтобы иметь значение в обществе, надо как-то влиять на него: тебя должны бояться или уважать. Боятся власти, уважают богатство.

— Мне трудно судить о вашем богатстве, но властью...

— Я поздно родился,— улыбается Масао,— опоздал. И то, и другое уже давно распределено.

— Но все же секретарь мэра крупного города — это...

— Это — ранг в табеле. Будешь работать с холодком — выгонят, будешь стараться до галлюцинаций, проявлять способности гения — никто не заметит.

— От кого же это зависит?

— Окунинуши — бог добра — никак не одолеет лукавого бога Ясоками. Все намертво скреплено бетоном, оно нерушимо и неизменно.

Вчера к концу дня Масао Итиока примчался на судно и обрадованно сообщил приятные новости: власти разрешили поездку по стране, а банк Ниигаты согласен

выдать иены по предъявительскому чеку Внешторгбанка СССР.

Секретарь мэра был весел и радостно возбужден удачей. Внутренне торжествовал и я, одержавший победу над незадачливыми шерлоками, торпедировавшими мои планы. И вот, как условились вчера, мы подъехали к банку Ниигаты.

Массивное палевое здание проглатывает нас в людском потоке. Гулкий просторный зал, остекленные конторки, строгие, собранные, неторопливые клерки и быстроглазые полицейские. Масао Итиока подал мой паспорт и чек. Клерк взглянул на меня и на фотографию, потребовал документ, удостоверяющий личность Итиока, и, нажав кнопку электронно-счетной машинки, принялся пересчитывать доллары в иены. Миниатюрный компьютер выбросил банковский бланк, испещренный цифрами. Иероглиф производившего расчет, подпись получателя — и деньги у меня в кармане. Одна проблема решена и больше не существует. Осталась вторая, главная...

Из своего скромного кабинета в муниципалитете господин Итиока куда-то звонит по телефону, и я вижу, как мрачнеет его лицо.

— Ложная радость,— говорит он, укладывая трубку на рычаг и утирая платком испарины на лбу,— главное управление не подтвердило разрешение на ваш выезд...

— Это решение окончательное?

— Нет. «Вопрос в стадии изучения», как они отвечают.

На судне нас встречают Фурукава и проспавшийся Хаватачи. Скучают они без меня. Прозевали наш выезд в город, какая досада. Один из них обязательно увязался бы с нами, но откуда знать, что их «подопечный» ранним утром укатит в банк? Впрочем, им неизвестно, по каким делам я отлучился, и они ждут нашего возвращения.

Меня охватило желание блеснуть первой победой: показать им полученные иены по чеку, которому они вынесли похоронный приговор. Но пришлось воздержаться от мелкой мести, чтобы не обострить отношения. Мало ли какие козни могут придумать на моем пути всесильные пакостники. Но секретарь мэра сам похвалился, что мы получили деньги и досадовал по поводу необъяснимого упрямства властей в решении вопроса о моей поездке в Иокогаму и Киото. Представители «сырья» и «импорта» внимательно слушали, молчали, и лица их оставались безразлично каменными, как у будды.

В присутствии негласных надзирателей я передал господину Итиока сувениры, предназначенные для мэра Киото, предоставив полную возможность Фурукаве и Хаватачи исследовать эстампы, книги, альбомы, пластинки, детские рисунки, слайды, диафильмы, наборы открыток с видами Москвы и Киева. Ни один предмет не вызвал у них подозрения, кроме вкладки с аннотацией в альбоме «Национальная украинская живопись». Прямоугольник плотной бумаги с перечнем репродукций картин и их авторов, лежавший между обложкой и титульным листом, очень встревожил Фурукаву. Хаватачи долго и смешно читал по складам украинский текст:

— По-хи-то-нов. Зи-мо-ви су-ти-нь-ки...

Он обличительно взглянул на меня, пожал плечами и передал «шифровку» Масао Итиока. Когда же и секретарь мэра — знаток русского языка — с трудом читал написанное и глазами просил у меня помощи, Фурукава стал сам разглядывать вкладку, как «ценную находку».

— На украинском языке — «Зимові сутінки», по-русски — «зимние сумерки»,— меня душил смех,— читайте строчкой ниже — там русский текст.

Я отыскал репродукцию Похитонова в альбоме и обратил их внимание на те же самые подтекстовки.

— Да, да, да,— засмеялся господин Итиока,— понятно, здесь и на английском перевод и на немецком...

Но «бдительным» шерлокам было не до смеха. Они молча разглядывали репродукцию картины зимнего пейзажа, сравнивали идентичность текстов, а червь сомнения где-то точил их души.

Все это произошло вчера, а сегодня утром, после ночного перехода Японским морем, турбоход «Металлург Курако» ошвартовался в порту Саката, в устье Магама-Гава.

Как и в Ниигате, нас встретили неотвязные спутники, прибывшие сюда автомашиной. Хаватачи со своей неизменной улыбкой снова усаживается за столик и настойчиво клянчит таблетки «от зивота». Что у него там в желудком? Может, в самом деле человек болеет и нуждается в помощи?

Позвонил по телефону в каюту судового врача.

— Виталий Петрович, окажи, пожалуйста, любезность представителю «импорта», страдает желудком, захвати таблетки.

Врач есть врач, и он начал выяснять симптомы заболевания.

— Ну что мы по телефону будем устанавливать, заходи...

— А что же брать с собой? — упорствовал доктор.— Раствор марганцовки, клизму или...

— Бери таблетки...

Не установив, в чем именно нуждается пациент, наш судовой медик Виталий Петрович Лементарев прихватил со своего арсенала всего по пакетику и разложил препараты на столике. Пока он расспрашивал, что, где и как беспокоит больного, Хаватачи прятал в карманы бесалол, энтеросептол, фталазол, пурген и даже сгреб коробочку с капсулами рецинки.

— И зивота, и зивота,— твердил он,— и много нада и много...

Недоумевая, мы переглянулись с доктором, и Виталий Петрович возмутился.

— Я не могу так, без осмотра больного, без диагноза...

— И нада и таблетка и есо, и многа,— он стучал пальцами по своей голове, по левой стороне груди, по правому подреберью...

— Пожалуй, он хочет экспроприировать всю нашу аптеку,— шутя заметил медик.— Вы страдаете всеми этими болезнями?

— Болита и зивота и все болита. И многа таблетка, и многа.

— Вам надо ложиться в больницу, в госпиталь.

— И не нада и госпиталь. И нада и таблетка и много и таблетка,— уже раздраженно твердил он свое.

— У вас еще нервная система не в порядке,— констатировал Лементарев и предложил Хаватачи раздеться до пояса.

— И не нада, и не нада,— отчаянно замахал он руками, не подпуская к себе доктора.

Виталий Петрович не любил капризных больных, он просто махнул рукой, беззвучно, одними губами, сказал что-то не очень деликатное и вышел из каюты.

— И медика и принесета и есе? — спросил Хаватачи.

— Нет, больше не принесет. Он не знает, какие нужны вам лекарства.

— И все и нузны, и многа...

— Торговать лекарствами собрались, что ли?

Хаватачи вытянул из бокового кармана купюру в тысячу иен и протянул ее мне, прогудел голосом заговорщика:

— И Япония, и дорога стоит и таблетка... И я и Ивана-сан, и делает и маленький бизнес.

Я остолбенел от неожиданного поворота. Вот отчего он с первого дня талдычит мне о таблетках. И это представитель службы безопасности! Постой, постой, может, он только играет в бизнес, провоцирует продажу медикаментов, чтобы накрыть с поличным контрабандную торговлю?

У меня появился отличный предлог выставить его из каюты. Я сделал шаг к двери и распахнул ее.

— Контрабандой промышляете, господин Хаватачи,— сейчас вызываю таможенников, сообщу господину Фурукава...

Я рассчитывал, что он испугается, а с него что с гуся вода. Ни капли смущения, сидит, каналья, и невинно улыбается своей бронированной улыбкой. Он словно отпустил для меня время подумать, насколько удобная и неуязвимая его позиция при всех случаях: удастся купить — перепродаст, сделает бизнес. Обвинишь его в попытке контрабандной сделки — отговорится, дескать, проверял соблюдение таможенных законов.

И все же я выпроводил его из каюты. Позванивая ключами, щелкнул английским замком и категорически потребовал:

— А ну поднимайтесь...

— Ивана-сан и пригласает меня и Саката? — поднявшись, спросил он.

— Сам схожу в таможню, без вас.

— И очень и карасо. И тамозня и совсем и здесь...

— Я пойду в главную.

— И нета, нета. И главная тамозня и в Токио,— еще шире расплылась его улыбка.

Ни в какие таможни ходить я не собирался, стоит ли связываться. Все равно инцидент квалифицирует как недоразумение, связанное с языковым барьером, а разбирательств, писанины, трепки нервов — не оберешься. Хотел

заставить его вернуть таблетки, но подумал: не будет ли это выглядеть слишком мелочным? Достаточно того. что он получил хороший урок, освободил каюту, и мы с товарищами уходим в город без навязчивого гида.

— Ивана-сан была и тамозня? — спросил Хаватачи, когда мы вернулись из города.

Я промолчал, будто не услышал его вопроса.

— И тамозня и приходила и здесь и парохода,— в его улыбке торжествовала неуязвимость.

О, как противна мне эта постоянно слащавая маска! Как все осточертело!

После «лекарственного конфликта» Хаватачи стал меньше проводить времени в моей каюте. Он оставался таким же улыбчивым и безобидным, часто отсиживался в кают-компании, столовой команды или бродил по коридорам. Но под любым предлогом присутствовал, когда кто-нибудь из японцев посещал меня. Фурукава больше уделял внимания капитану.

В один из дней стоянки в Сакате к нам в гости пожаловал штурман с американского сухогруза — длинный и неуклюжий аризонец Бен — старый знакомый нашего экипажа.

Лет пять назад в каком-то индийском порту он появился на «Металлурге Курако» с тремя пойманными рыбинами. Одну из них он отдал нашим штурманам, и те, не теряя времени, переправили ее на камбуз, а сами стали готовить стол, чтобы пообедать вместе с гостем, но Бен воспротивился:

— Нет. Я люблю кушать в одиночестве,— заявил он категорически.

Естественно, открыв такого оригинала, со всех сторон посыпались расспросы:

— Почему только в одиночестве?

— Какое в этом преимущество?

— Совершаете какой-то особый ритуал?

Молодой шалопай в грязной, измятой робе открыл свой «секрет»:

— Я не терплю застольного этикета. Когда кушаешь, как хочешь, как тебе удобно — руками, без вилок, ножей и салфеток, облизываешь пальцы, оно вкуснее.

— Ну, а... пиво тоже пьете сами?

— Могу и с друзьями, но закусывать лучше одному.

В тот раз странный гурман так и не пообедал на нашем судне — ушел чревоугодничать к себе. Перед уходом его внимание привлекла московская «Правда», лежавшая в кают-компании на шахматном столике, точнее, карикатура на ее странице: спрут в военной фуражке с американской кокардой и с тремя буквами «Ю», «Эс», «Эй» обвил щупальцами Вьетнам. Удивленный Бен спросил: «Что это значит?» Ему объяснили внятно и доходчиво: «Американский империализм стремится задушить революционно-освободительное движение вьетнамского народа». Штурману стало не по себе, он даже обиделся за то, что его страну сравнивают со спрутом-душителем. Спорить он не стал, а попросил разрешения и взял газету с собой.

Трудно предположить, как развивались события дальше, на американском судне. Можно только догадываться, какие споры велись вокруг «спрута». Были, вероятно, сторонники карикатуриста, нашлись, наверное, и противники. Для одних это стало открытием или поводом для размышлений, для других — повторением давно известного.

Года через полтора, когда в каком-то порту суда встретились снова, Бен явился на «Металлург Курако» с бутылкой виски, и его первый тост поразил штурманов:

— Я хочу выпить за вас, добрые мои друзья! Вы стали для меня просветителями, заинтриговали убийственной карикатурой и пробудили во мне интерес читать газеты, открыли мне глаза на мир.

И вот встреча в Сакате. Бен притащил коробку баночного пива, и парни толкуют о вторжении в небо Камбоджи американских военно-воздушных сил.

— Когда наш президент Джонсон говорит о новом шаге миролюбия,— ораторствует Бен,— ждите какой-нибудь свиньи, которую он подложит миру, ждите новых контингентов войск во Вьетнам.

Я оставил штурманов и спускался к себе в каюту. Хаватачи поймал меня на трапе. Очень хочется ему знать, что за иностранец появился у нас на судне, но он заходит издалека концентрическими кругами. Вначале он сообщил, что власти обещают скоро разрешить мне поездку, потом рассказывает, как в порту Сасебо на судно под иракским флагом проник неизвестный иностранец, ходил по каютам и оставил в умывальнике свой портфель. Спустя час прогремел взрыв...

— И больсая и позара была...

Его бесит мое долгое молчание, и он пускается напролом.

— И я видела и на васа и парохода гуляй и цузая людя...

— Сколько их? — решил я проверить, может, в самом деле пробрались на судно неизвестные.

— И одна людя, и посела и туда,— он рукой указал наверх по трапу, куда поднялся Бен с вахтенным штурманом.

— Спасибо, господин Хаватачи.

— И позалуста, Ивана-сан. И людя и несла больсой банка.

«Для чего же ты, друг, все это рассказываешь мне, отлично зная, что я был в той каюте, куда занес американец картонку с пивом?» — подумал я и постучал в дверь второго механика, но не успел переступить порог каюты, как Хаватачи метнул в меня шпильки мести:

— И тамозня. И нельзя контрабанда...

Я остановился в двери и ответил ему как можно любезнее:

— В ящике американское пиво, не таблетки,— и оставил его в коридоре.

В день отхода из Сакаты, возвращаясь из города, мы забрели по дороге в морской клуб. Здесь ничего не осталось японского, кроме белого флага с красным кругом солнца в центре. Американские напитки, американские страсти, американские нравы: бесконечный поиск удачи, выигрыша, наживы. Вокруг шулеры, живые на двух ногах и механические «однорукие бандиты» — игральные автоматы. Они пристроились у каждой стенки, в каждом углу.

У стола с красными и черными квадратами наш матрос ради любопытства взял в руки биту, которой надо покрывать определенные квадраты. В тот же миг к нему подкатился маленький, шустрый японец, буквально вложил ему в руки еще четыре биты. Не успели мы сообразить, что к чему, как японец ловко метнул свою биту и накрыл черный квадрат. Игра началась. И позор тому, кто струсит и откажется от игры. Матрос метнул свою пластинку и накрыл красный квадрат. Через две-три минуты из пяти он накрыл четыре. Японец только две и проиграл. Тут же он «честно» достал пачку иен и протянул нашему парню выигрыш. Взять деньги — значит ввязаться в игру, и кто знает, чем она может кончиться. Матрос от денег отказался и отошел от стола. Но тут как тут нашлись «добродетели», схватили иены и через пять минут притащили корзину кока-колы, пива и жаренных в соли соевых зерен.

Никто из нас не притронулся к угощению, но расходы понесены. Японец вошел в раж, готовый взять реванш. Он требует продолжать игру.

На этот раз, конечно, выиграл японец. Он легко, хорошо тренированной рукой накрыл пять красных квад-

ратов. Но у парня нет такой суммы, чтобы рассчитаться с партнером и скорее унести отсюда ноги, пока тебя не раздели до нижнего белья. Может, они подождут, пока кто-нибудь сбегает за деньгами на судно? Кривые усмешки, недружелюбные взгляды, оскорбительные реплики. Японец, пританцовывая, ждет расчета. Назревает скандал.

И тут произошло то, чего никто не мог предвидеть. Откуда-то появился Хаватачи. Самодовольной улыбкой, преисполненной превосходства, он взял биты и метнул их одну за другой, накрыв пять черных квадратов.

— О'кэй? — крикнул он победно.

— О'кэй,— буркнул недовольно проигравший.

Хаватачи снисходительно хлопнул по плечу матроса, и мы все вместе зашагали на судно.

— И с ними и надо быть и осторозным...

«Ну что ж, размышлял я дорогой, нет худа без добра. Видимо, и в том, что за нами тенью следует Хаватачи — демократии немного, но в данном случае его надо благодарить за рыцарский жест. Не появись он вовремя, было бы нам худо».

По пути Хаватачи уверял меня, что завтра уже обязательно разрешат выехать в Иокогаму, Токио и Киото. Его разговоры не вызывали у меня никаких эмоций, пропала всякая вера в их обещания, а с нею — и желание поездки.

Девять дней мы находимся в Японии, и планы мои постепенно претерпевают изменения: сокращаются сроки, как размытая штукатурка от стен, отпадают города, в которых так и не удастся побывать. Завтра ночью мы будем в Муроране, на острове Хоккайдо, а оттуда добираться обратно на Хонсю и далеко, и сложно, и накладно.

В МУРОРАНЕ

Радиограммой Черноморского пароходства нам предписывается взять в японских портах тринадцать тысяч тонн листовой стали в катушках и следовать в испанский порт Бильбао. Обыкновенное распоряжение о новом рейсовом задании повергло меня в крайнее замешательство. Участникам национально-революционной войны в Испании въезд в эту страну категорически запрещен франкистскими властями под страхом тюремного заключения. Нас предупреждали об этом под расписку перед тем, как открыть тюремные ворота и вывезти в Германию. И в гестапо нам строго наказывали не появляться в Испании. И хотя с тех пор прошло уже более тридцати лет и в мире многое изменилось, но Франко пока оставался диктатором, в нем не ослабела жажда мести, и запрет остается в силе. Как быть? Вероятно, придется отказаться от обратного рейса и вернуться на Родину другим судном. Но впереди еще порты заходов, переходы между ними, есть еще океан, и будет достаточно времени поразмыслить, все тщательно взвесить и принять решение.

...В наших краях уже бушует цветистый май. Заливаясь, поют соловьи. А здесь серое небо обрушивается грязными ливнями. Цементная пыль, мелкая сечка стальной окалины, ядовитые оранжевые дымы довели до чахотки скудную растительность. Под неистовый свист шального ветра качаются, судорожно трепещут рахитичные деревья, умываются не дождем, а бурой жижей и каменеют, когда дождь прекращается. По утрам давят густые туманы, пропитанные едкой, серой и удушливой гарью. К вечеру усиливается ветер: угрожающе хлопают вывески магазинов, раскачиваются фонари, скрипят легкие деревянные домики, грохочут сорванные листы кровли. Люди, сжавшись в комочки, бегут улицами рабочего поселка, испуганно поглядывают в небо, ждут тайфуна.

В хмуром и неприветливом Муроране нас не встретили ни Фурукава, ни Хаватачи. Что бы это значило? Их деятельность ограничена островом Хонсю и не распространяется на Хоккайдо? За девять дней неразлучного общения мы так привыкли к нашим «спутникам», что без них в Муроране показалось как-то одиноко и скучно. Не может быть, чтобы они больше не появились на нашем горизонте, ведь мы по-настоящему и не попрощались, просто сказали обыденное «до свидания». Теперь не у кого спросить: «Когда же власти разрешат поездку?» И некому утешить обещанием. Все оборвалось и заглохло. Видимо, заранее так и запланировано дотянуть до перехода на Хоккайдо и дальностью пути, трудностями переправы с острова на остров, удвоенными расходами подавить желание к путешествию по стране какого-то неблагонадежного субъекта.

В кают-компании и в столовой команды с утра и до позднего вечера — стрельба, пальба и душераздирающие крики. На экранах телевизоров мелькают искаженные лютой злобой лица и лужами льется кровь. Белозубые улыбки атлетов и томные взгляды пикантных красавиц. Американских суперменов сменяют японские камикадзе. Американские регби сменяет кетч — борьба и драка без правил с хрустом переломанных костей и разодранных ртов с одним условием: кто быстрее и надежнее изувечит противника, сделает его инвалидом, тот и победитель. Женские «соревнования» на роликовых коньках: сбить с ног соперниц, расшвырять их по сторонам трека, устоять самой и прийти первой к финишу — такова цель конькобежцев.

Если раньше самураи воспитывали в жестокости избранных смертников, то сегодня в качестве вакцины против «бациллы миролюбия» телеиндустрия морали и нравственности методично и целеустремленно пытается привить

жестокость, культ силы и зверства всему молодому поколению.

Пятого мая в Японии празднуется день детей (мальчиков) Танго-но Сэку. Над входом в дом, где есть в семье сыновья до двадцати лет, на шестах гордо развеваются красные с золотистой чешуей карпы (кон), вырезанные из бумаги. Сколько сыновей — столько и карпов, больших и поменьше, соответственно возрасту. Карп — рыба отважная, олицетворяет мужество. Нарисованные белые цветы ириса — символ воинского духа.

Это старая японская традиция, а рядом — афиши, рекламирующие новый американский фильм: обнаженная девица с торчащим ножом в бедре снимает с пальца убитого возлюбленного драгоценное кольцо с алмазом. Она мило улыбается, не зная, что над ее головой занесен топор соперницы, тоже обнаженной и с обворожительной улыбкой.

В кинотеатрах и на экранах телевизоров доминируют две темы: насилие и секс. Уходит в прошлое, исчезает самобытная Япония. Она почти не сопротивляется американизации: стриптиз самого пошлого и низкого пошиба вытесняет старинный уникальный театр масок Но. С буддийскими храмами успешно конкурируют площадки для игры в гольф. Их посещают четыре миллиона игроков. Шумные и дымные кабаки с шоу затмили чайные домики с их национальными церемониями. Порнография оттеснила на задний план икебану, церемония сжигания благовоний стала анахронизмом, ее заменили героин и американские сигареты. Крепкое виски пользуется бóльшим спросом, чем слабенькое сакэ. Проститутки стали популярнее гейш. Кимоно едва сдерживает натиск джинсов и мини-юбок. Конечно, прав господин Чимура, спрашивая: «Где же теперь восходит солнце Страны восходящего солнца?»

Вечером грузовой агент компании «Нарасаки Сангио» Ясуа Сакураи пригласил нас «познакомиться с ночной жизнью Мурорана». Знакомство началось с бокала консервированного пива в офисе фирмы. Давно закончился рабочий день, а многие сотрудники оставались за своими столами и усердно что-то писали, быстро набирали цифры на электрокалькуляторах, полученные данные вкладывали в узкую пасть компьютера.

— У вас двухсменная работа? — спросили мы агента.

— Нет. Кто не успевает выполнить возложенные на него обязанности в течение рабочего дня, выполняет их в нерабочее время. Работа есть выполнение конкретных, строго регламентированных дел,— объяснил нам господин Сакураи.

Из офиса мы отправились в американский бар. Грохот и визг джазовой музыки, конвульсии танцующих пар, дикие, немыслимые позы, судороги всего тела, безумные глаза психопатов, извивания эпилептиков на полу под беснующимися ногами, обмороки и истерики партнерш с расплывшимся по лицу гримом, шум и гам хмельных застолий, тяжелый дух перегара, парфюмерии, горячего пота и сигаретного дыма.

— Правда, здесь прекрасно? — Господин Сакураи сиял от блаженства.— Забываешь обо всем на свете: о своих невзгодах, о термоядерной бомбе, о бренности жизни. Угар снимает с человека маску, и человек становится самим собой, каким он есть в действительности. Сбрасывает с себя узду условности.

— Если это так, то до чего же противный этот «человек». Ему не маска нужна — намордник и смирительная рубашка,— ответили мы нашему гиду.

— Или вы очень счастливые люди или ограниченно мыслите.

— Вон та пара мыслит глобально,— мы показали на парня и девицу, танцующих на четвереньках.

— Но они забылись, они вернулись в безмятежное детство,— оправдывал пьяное безумие наш оппонент.

— Они вернулись в первобытность, потому что рано слезли с дерева.

Господин Сакураи рассмеялся.

— И вы, Сакураи-сан, способны впасть в подобное забытье?

Видимо, холеный, чопорный педант представил себя в такой позе и захохотал громко, вытирая слезы белоснежным платочком.

— Вы истинные конфуцианцы,— заключил он.

Мы покинули бар, и воздух улицы, отравленный дымом сталелитейных и химических заводов, показался нам свежим и чистым дыханием альпийского луга. Проехав машиной в другой конец города, мы остановились у огромного кинотеатра, похожего на самолетный ангар. У кассы толпилось много людей.

— Японцы трижды низко кланяются при встрече со знакомым, но в толпе они отлично работают локтями,— заметил господин Сакураи и тараном вклинился в людское скопище, пробиваясь к кассе.

Не прошло и пяти минут, как он вынырнул из гущи толпы с четырьмя билетами в руке и стал брезгливо отряхивать свой элегантный костюм, очищая его от плотных касаний с неизвестным людом.

— До недавних пор у нас в Японии насчитывалось свыше восьми тысяч кинотеатров с миллиардом зрителей в год. Телевидение сократило эти цифры до 450 миллионов зрителей, и более трех тысяч кинотеатров закрыли свои экраны и открыли разные шоу, стриптизы, игорные залы.

Фильм, который в этот вечер довелось нам посмотреть, был японского производства. Препохабную историю богатого сексуального старца мое перо отказывается излагать. Одно скажу: я горел от стыда и порой отворачивался от

экрана, настолько все было гнусно и противно. Этот фильм — наглядное пособие преступной школы извращений. И самое досадное и постыдное, что зал был переполнен подростками, мальчиками и девочками, стариками и старухами, женщинами и мужчинами среднего возраста.

Фильм оказался только преамбулой к гвоздю программы. Зажегся свет в зале. Двухминутный перерыв. Мне показалось, что он предусмотрен хозяином кинотеатра для тех, кого стошнило, кто, отплевываясь, хочет покинуть зал. Но никто не шелохнулся в плотных рядах партера и балкона. Никто не вышел.

После перерыва на высокой эстраде начинался стриптиз шести японок. Мне приходилось видеть это зрелище в Бейруте и Монреале, но то было «пристойное» раздевание с феерией света и музыки. То была демонстрация грации и, пусть скромного, но таланта изящества в танце и в искусстве песни. Там был намек на обнажение и не доходило до откровенного и циничного бесстыдства. Здесь же все преподносилось в «банном» варианте и выглядело до омерзительности гадко. И вдруг в этом грязном и пошлом вертепе зазвучала мелодия старого русского романса «Когда расцвел наш вишневый дивный сад». В тот миг протест моей оскорбленной совести достиг апогея. Я готов был выскочить на улицу, но не осмелился нарушить увлеченности сотен психастеников. Рев в зале, топот ног и скабрезные реплики все время меня наводили на мысль: «Мир рехнулся, обезумел и требует безотлагательного массового вмешательства психиатров».

— Свобода нравственности! — квалифицировал увиденное наш гид.— Вы убедились, каким успехом пользуется стриптиз.

Очумевшие и угнетенные махровым цинизмом дегенеративного зрелища, мы переместились отдохнуть в скромный кабачок «Краб феникс», приютившийся в узком и темном переулке. Стоило нам прикоснуться к входной

двери — и нежные серебряные звоночки оповестили хозяев о прибытии новых гостей. Не успели мы как следует расположиться за столиком, откуда-то вспорхнули миниатюрные японские девушки и плюхнулись к нам на колени. Непонятное детское щебетанье, заученные улыбки, загадочные взгляды и фривольные нежности. Эрико, сидящая на коленях у господина Сакураи, позволила себе слегка покрутить его за ухо, за что получила по рукам. Она не обиделась, извинилась и в награду чмокнула его в щеку.

Сидеть за столом с живым, вертящимся грузом на коленях не очень удобно, он мешает оперативно действовать вилкой и ножом. И я уже придумал повод, чтобы пересадить Рюрико на подставленный стул, ссылаясь на то, что у меня больные ноги. Но снова пропели серебряные звоночки, и шкодницы, словно испугавшись пришедшего отца, сами вспорхнули и исчезли за бамбуковой ширмой.

Вошли трое греческих моряков. Через минуту «наши» девушки сидели уже у них на коленях.

Мы возвращались на судно с неприятным чувством духовного угнетения. Казалось, что над нами зло насмеялись, обругали паскудными словами, обмазали зловонным болотом и выставили глупыми шутами напоказ, растоптали человеческое достоинство, оскорбительно заплевали и растерли грязными подошвами.

На другой день на судно явился Ясуа Сакураи в сопровождении трех молодых японок: Чиое, Тотака и Юко.

— Девушки хорошо воспитаны, играют на сямисэне,— (щипковый инструмент),— на цитре-кото, танцуют и поют,— представил нам «гейш-надомниц» господин Сакураи,— мои сотрудницы, прихватил для развлечения, немного владеют английским...

— Надеемся, стриптиза не будет? — брякнул капитан.

— Если пожелаете — можно и стриптиз.

— Ради бога, без раздевания.

Мы чинно сидели за чашечками кофе с коньяком и вели разговор:

— Вам не нравится стриптиз? — спросила Юко.

— В Японии это зрелище отвратительное, деградация личности, вырождение культуры, апофеоз скотства.

Девушки переглянулись, пожали плечами.

— Вы пуритански строги, — заметил Сакураи, — у стриптиза большое будущее: зарождается мужской стриптиз и восходит заря парного.

— Если спускаться назад к дикой первобытности, то стриптиз можно поставить на ледовые коньки, ввести его в балет и оперу, в драму и в церковные церемонии и даже в судебные и правительственные заседания.

Гости рассмеялись, а господин Сакураи ухватился за подсказанную идею.

— А что вы думаете, формы общения людей ужасно одряхлели. Они настоятельно требуют обновления. Обнаженность официальных лиц потребовала бы красоты строения и развитости тела, возвела бы в культ Евгенику. Это было бы ново, интересно, а главное — чисто и честно. У обнаженного человека негде было бы укрыться скверне,— он говорил увлеченно и на полном серьезе.

Тотако стояла перед книжным шкафом и пальцем пересчитывала тома Большой Советской Энциклопедии.

— И все это вы перечитали? — со скрытым ужасом спросила она.

— Не все, конечно, но,— отвечал капитан,— каждый день, а иногда и десять раз на день обращаешься за каким-нибудь уточнением, за нужными сведениями... А вы увлекаетесь чем-нибудь?

Она улыбнулась, взглянула на своего шефа и ответила громко, одним словом:

— Работой.

— Ну, это понятно. А в свободное время?

— А его почти нет. Работа на службе, работа дома. У меня старенькие родители. Да и чем увлекаться? Кино? Надоело однообразие. Шоу — дорого. Молодые парни небогаты, все больше в дешевые таверны приглашают.

— А книги вы читаете?

— Книги? Если они не толстые и смешные.

— Над книгами много думать надо,— вставила Чиео,— а когда много думаешь — голова болит. И ради чего?

— Театр любите?

— Нет,— завертели головами девушки,— театр — это старина. Сюжеты современной жизни намного интереснее.

— И билеты дорогие.

— У нас нет Большого театра Москвы, нет и «Березки»,— как бы заключила разговор о театре Юко.

— Я люблю смотреть телевизор,— смеясь, сказала Чиео.

Девушки недоуменно взглянули на свою подругу: шутит она или говорит всерьез?

— Одно расстройство,— фыркнула Тотака,— реклама преподносит столько красивых вещей, показывает такие богатства, что уснуть не можешь...

— Много стреляют. И люди на экранах препротивные, жить не хочется,— проговорила Юко и брезгливо скривила свой крошечный носик.

— А какое у вас стремление, цель жизни? — спросили Юко.

Она немного подумала и с грустью высказала свою несбыточную мечту:

— Посмотреть мир, поездить по всей планете, побывать в вашей стране, в Большом театре, на концертах, познакомиться с огромным миром, со всеми жителями земли.

Тотака выпалила свое желание на одном дыхании, видимо, оно сложилось и преследует ее давно.

— Выйти замуж за богатого, но не очень старого человека.

— И что потом?

— Потом? Как, что потом? — Она никогда не задумывалась над такими пустяками.— Ну, а потом... хорошо жить, богато одеваться, ездить в машине, бывать в приличном обществе. А потом? Потом уехать куда-нибудь на красивые острова в джунгли, жить во дворце среди птиц и зверей, и чтобы газеты о нас писали и по телевидению рассказывали...

— А мне бы тот браслет с дорогими камнями,— закатив глаза, тяжело вздохнула Чиео.— Мне кажется, что в браслете том притаилось счастье всей моей жизни. Но он очень, очень дорогой...

Прикусив нижнюю губу, господин Сакураи покачивался в кресле и кивал головой. В его глазах пряталась ирония.

В ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

С грустью мы покидаем Муроран и остров Хоккайдо. В душу вползает горькое чувство сиротливости. От нас удаляются родные берега: Курильские острова, Сахалин и материковый порт Находка. Пять суток были они так близко, почти рядом. Иной раз казалось, что ветер доносит запахи наших буйных трав, звуки майских праздничных оркестров. Но мы удаляемся, чтобы вернуться. И это нас утешает.

С севера мы прошли вдоль всего побережья острова Хонсю, обогнули его с юга по извилистому японскому Босфору — проливу Симоносеки, вошли во внутреннее Японское море и бросили якорь в порту Фукуяма. Здесь предстоит нам догрузить судно тремя тысячами тонн той же листовой стали в рулонах.

Закончить погрузку и крепление стальных катушек портовое начальство обещает завтра. Завтра — домой! И хотя впереди лежит еще далекий и нелегкий путь, но он простирается к родному дому.

С первым подъемом груза на борту «Металлурга Курако» появился Хаватачи и с ним рослый, хмурый человек с черным портфелем.

В сопровождении матроса они проследовали прямым курсом в мою каюту. Наш старый знакомый улыбался на все тридцать два зуба.

— Где же вы пропали, господин Хаватачи? — встретил я гостя вопросом.— Что случилось?

— И оченно и залею, и оченно и болела и зивота. И Мурорана и вам понравилась? — сразу же ушел он от дальнейших объяснений причин своего отсутствия на Хоккайдо.

Не дождавшись моего ответа, он поспешил сообщить мне важное и долгожданное, но уже запоздавшее известие:

— И власти и разресают и вам ехать и куда вы и зелаете. И по вся и Япония. И власти и оченно и огорсены и приносят и свое извинение...

— Преогромнейшее спасибо властям за их великодушие, но срок моей визы истек, и завтра мы оставляем Японию.

— И не нада и виза, и не нада. И мозно и ехать и одна паспорта, и по вся Япония и позалуста...

Только после обмена любезностями он представил своего спутника, корреспондента газеты «Санъё Симбун», издающейся в соседнем городе Окояма.

— И оченно и старый и газета, и прослого столета, и больсая тираза...

Хмурый японец без желания улыбнулся, поставил портфель под овальный столик — штатное место Хаватачи, протянул мне правую руку и одновременно в левой

руке держал жесткую карточку палевого цвета, испещренную японскими иероглифами. Может быть, действительно это являлось документом, удостоверяющим личность газетчика, но это могло быть и обыкновенной инструкцией, как пользоваться таблетками от бессонницы или от боли в желудке.

— Исакава,— сиплым голосом назвал он свою фамилию.

— Исакава, Исакава, Исакава,— вспоминал я знакомое имя,— вы случайно не брат известного прозаика Туцудзо Исакава?

— И нета, и нета,— ответил за него Хаватачи,— и похозая и фамилия.

Господин Исакава раскрыл свой портфель, вложил в его темную пасть палевую карточку и оставил портфель открытым. Из кармана он достал узкий и тощий блокнот без обложки и авторучку. Начался наш диалог при помощи перевода Хаватачи.

Вопрос. Как вы встретили международный праздник солидарности трудящихся — день Первого мая?

Ответ. Первое мая встретили на переходе Ниигата — Саката в Японском море. На торжественном собрании поздравили экипаж с праздником. Команда получила много поздравительных радиограмм от родных и близких, от пароходства и от советского посла в Японии. Этот день был отмечен праздничным обедом с веселыми шутками и с грустью по Родине.

Вопрос. Что было подано на обед и какие напитки пользовались успехом у экипажа?

Ответ. Все лучшее, что было в запасах судна: черная икра, осетровый балык, свежие помидоры и огурцы, грибной суп с фрикаделями, цыплята табака, торт и хлебный квас. От крепких напитков воздержались, так как предстояли швартовка и рабочий день погрузки судна.

Вопрос. Что пили капитан и его помощники?

Ответ. Чай, кофе, газированную воду и квас — что кому нравилось.

Вопрос. Как вы лично отметили День печати 5 мая?

Ответ. Неудачным походом в город Муроран. Возвратился мокрым и грязным от местного дождя и ветра, с подарком от жителей — бумажными цветными карпами по случаю дня мальчиков.

Вопрос. День Победы 9 мая вы отмечали чрезвычайно торжественно?

Ответ. Так же, как и день Первого мая. Перед молодыми членами экипажа выступили ветераны войны, рассказывали о тех памятных днях, о фронтовых дорогах. Участникам войны приказом капитана объявлена благодарность. Им преподнесли подарки, освободили в этот день от несения вахт.

Вопрос. И сколько выпили водки?

Ответ. Крепких напитков на столах не было, потому что и этот день был для нас рабочим днем. Не было и кваса. Кончился.

Вопрос. Судно было украшено флагами расцвечивания?

Ответ. Нет. Портовые власти попросили нас этого не делать. Они напомнили нам: «В доме повешенного не говорят о веревке».

Вопрос. Но 9 мая — День Победы над Германией?

Ответ. Мы говорили портовому начальству то же самое. Но они нам ответили: «Это была одна коалиция, и победа над Германией предопределила поражение Японии». Мы согласились с ними.

Вопрос. Вы бывали раньше в Японии?

Ответ. Тридцать пять лет назад.

Вопрос. Что с тех пор изменилось в нашей стране?

Ответ. Японию трудно узнать и по архитектуре городов, и по нравам, и по самобытности. В Японии немного остается японского.

В о п р о с. Сколько дней вы пробыли в Японии в этот раз?

О т в е т. Двадцатый день, из них шесть суток в японских водах.

В о п р о с. Вам удалось побывать на японских базарах? И что вас там удивило?

О т в е т. Обилие рыбных продуктов и фантастические цены.

В о п р о с. Сколько же рыбы и рыбных продуктов на русских базарах?

О т в е т. Базары у нас богаче ваших, но рыбы мало. Наверное, если бы мы установили на рыбную продукцию ваши цены, наши базары были бы завалены и рыбой.

В о п р о с. Известно ли вам, что 57 процентов животного белка японцы получают из продуктов моря и что мы ежегодно вылавливаем семь миллионов тонн рыбы? И что вы об этом думаете?

О т в е т. Я думаю, как к этому относится рыба.

В о п р о с. Что вы можете сказать о свободе и демократии в Японии?

О т в е т. Свобода деньгам. Полная свобода лишать народ свободы, произвол в развращении нации. Демократии не ощутил, не располагаю миллионами.

В о п р о с. Вам нравится наша обувь?

О т в е т. Обуви большой ассортимент. Обувь внешне красива. Ничего не могу сказать о ее качестве, о прочности.

В о п р о с. Мы продаем вам обувь, почему вы не продаете нам ваши суперпрочные сапоги?

О т в е т. Мы много строим. И нам нужно много прочной спецодежды, в том числе и сапог.

В о п р о с. Согласны ли вы с утверждением, что в вашей стране очень неэкономно используют бумажные отходы?

О т в е т. Согласен. И не только бумажные.

В о п р о с. Это, наверное, потому, что у вас много леса?

О т в е т. Да, наверное, поэтому.

В о п р о с. Что еще не понравилось вам в нашей стране?

О т в е т. Бездушное, высокомерное отношение к простым труженикам. Недоверие к ним, угроза безработицы, требования автоматизма в работе, выжимание сил, враждебная настороженность к рабочему человеку, стремление развратить его нравственно, превратить в робота, лишить мышления и добрых чувств. Унижение женщины, ее рабское положение в семье, ограниченность в правах на производстве.

В о п р о с. Что у нас вам понравилось?

О т в е т. Люди, трудолюбивые, талантливые, хозяйственные, приветливые. Мы с восхищением наблюдали, как тщательно подметается рудная пыль на причалах. Не пропадает и горсти доставленной руды. Люди старательно трудятся.

В о п р о с. И все? Больше вам ничего не понравилось?

О т в е т. Я многого не смог увидеть, власти не разрешили поездку по стране. Нравятся мне ваши корабли, дороги, храмы, икебана...

В о п р о с. Вы намерены писать о Японии книгу?

О т в е т. Я мало знаю о Японии, чтобы писать о ней книгу. О встречах с японцами, о том, как меня приняли, наверное, напишу.

В о п р о с. Что вас больше всего порадовало в путешествии?

О т в е т. Известие о том, что завтра мы снимаемся к родным берегам.

На этом интервью закончилось. Господин Исакава взглянул на Хаватачи, нагнулся и захлопнул пасть своего черного портфеля. Все это время, выслушивая перевод ответов, он лениво рисовал в своем блокноте один-два

иероглифа, делая вид, что записывает их. За него эту работу делал магнитофон, скрытый в портфеле. Задавая вопросы и выслушивая ответы, он оставался совершенно безучастным и равнодушным, как статуя будды. На его лице не промелькнуло ни улыбки, ни тени несогласия или протеста.

Поднявшись с дивана, он глухо, не разжимая губ, прогудел «Домо аригато» (большое спасибо) и протянул руку для прощания.

— Будет ли мое интервью опубликовано в вашей газете?

Хаватачи очень длинно переводил мой вопрос, пока господин Исакава, пожав плечами, ответил:

— Трудно сказать, как отнесется к этому редактор.

У площадки трапа прощались мы несколько раз. Хаватачи не торопился оставить судно. Он назойливо напоминал, что я могу ехать сам и с друзьями куда угодно, а я благодарил его за оказанное содействие, но не раскрывал своих планов, не говорил, поеду куда-нибудь или не поеду. Наконец, он сам спросил:

— И куда и поедет Ивана-сан?

— Не знаю, может, в Иокогаму и Токио...

Он взглянул на свои часы и стал уверять, что это мне не удастся — очень далекий путь. Я же упрямо, без всяких аргументов опровергал его расчеты, ссылаясь на быстроходность японских экспрессов и частые рейсы самолетов, пока Хаватачи не пожелал нам счастливого плавания, повторного прихода в Японию и в десятый раз не пожал руку.

Спустя час с капитаном Михаилом Сидорчуком мы сидели в вагоне поезда Фукуяма — Хиросима и мчались в город великой трагедии и вечной скорби. В полупустом вагоне со скамьями для сидения, кроме нас, оказалось четверо мужчин, и все они очень увлеченно читали газеты. Кто из них следил за нами — установить точно

не удалось. Но все четверо следовали до Хиросимы, и только серый костюм в полоску одного из них мелькнул в мемориальном «парке мира».

В котловане, окруженном горами, мирно шумит вставший из атомного пепла город Хиросима (остров туманов). Над ним покоится светло-синее небо. Медленно плывут легкие белые облака, похожие на ледяные поля летней Арктики. На улицах снуют машины, беспечно играют дети. Куда-то спешат люди. На вокзале, в барах и в магазинах очищают карманы жаждущих удачи «однорукие бандиты». И только в мемориальном «парке мира» царит гнетущая тишина. Рыжим силуэтом стоит обгоревший скелет разрушенного здания храма, с оплавленной огнем сеткой купола. Толпятся притихшие туристы у памятника жертвам атомной бомбардировки. Печально разглядывают гирлянды сотен тысяч бумажных журавликов, сложенных руками инвалидов, пораженных лучевой болезнью. Вдумчиво читают выгравированные слова: «Покойтесь с миром, ибо мы никогда не повторим этой ошибки».

А вокруг голубые цветы мира и желтые розы, цветы разлуки с сотнями тысяч жертв. Рядом шумит фонтан, подсвеченный тоже желтым цветом.

В музее трагедии Хиросимы тихо, как в пантеоне. Оплавленные огнем «ярче тысячи солнц» куски гранита и железа, на камне отпечатанные силуэты людей, госпиталь, где страдают белокровием от облучения сотни обреченных. Тяжелые вздохи и слезы на глазах посетителей.

Возмущенные небывалым преступлением американской военщины и президентом Трумэном, сказавшим «да», уставшие и разбитые, вечером мы возвращались тем же экспрессом в Фукуяму. При резком торможении на станциях шуршали оберточные бумажки от американской жевательной резинки, катались по полу и звякали похоронным звоном пустые банки из-под пива и кока-колы.

Незаметно промелькнули за окном двенадцать станций, тридцать два тоннеля и четыре остановки.

У вокзала Фукуямы мы сели в такси и отправились в порт. Шофер, видимо простоявший не один час без работы, решил прокатить иностранцев неближними дорогами и начал колесить по городу, по его окраинам и по всей огромной территории сталелитейного завода.

На выезде из завода, перед самым портом нас встретила полицейская машина. Короткий разговор с шофером, два удара рукой по лицу. И, замигав синими вертящимися лампочками, полицейская машина уехала в город. Но разговор с шофером еще не окончен. Он состоится в полицейском управлении, куда увезли его документы.

Жалким и растерянным взглядом посмотрел шофер на нас, и нам показалось, что его глаза укоряли нас: «Чего же вы не предупредили, что вы русские!»

На причале у самого борта судна мы заплатили ему полторы тысячи иен, хотя на счетчике выбило 980.

К утру закончили погрузку, и в трюмы спустились с моторными пилами крепильщики. Из пакованного леса ловко и точно они выпиливают клинья и распорки, кувалдами загоняют их в щели между пятитонными катушками.

Я смотрю, как стараются крепильщики, смотрю на деревянные чурки, и у меня нет к ним никакого доверия. Разве смогут эти клинья выстоять против разъяренной стихии океана? Сможет ли дерево выдержать напор железа в сотни тонн?..

Лоцман на борту. Буксирные катера отводят нас от причала и разворачивают форштевнем на выход. Необычно легко и душевно отдает команды капитан, вкладывая в них всю силу радости возвращения к берегам родной земли.

ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ

Испания — это не только субтропическая морская Швейцария, страна неистовых тореро и пылких Кармен, край кастаньет и чарующих песен. Это первая жертва фашизма, щебень перемолотой Герники, кровь и пепел пожарищ, скрип виселиц и тюрьмы. Испания — это позор предательского угодничества западных держав перед фашизмом и символ сопротивления безоружных людей, символ интернационального единения планеты. Испания — это предвестник небывалого горя, постигшего человечество, Испания — это рекогносцировка и первые залпы второй мировой войны.

Для меня, бывшего матроса теплохода «Комсомол», как и для многих советских людей, Испания — страна, близкая сердцу. Первое наше знакомство состоялось в прекрасной столице Андалузии — Севилье за два года до начала фашистского мятежа. Наше судно под флагом золотого серпа и молота поднялось вверх по живописной, извилистой реке Гвадалквивир, доставив советские плуги испанским хлебопашцам, а взамен в трюмы грузились ароматные солнца Андалузии — апельсины. Обменявшись плодами труда и земли, мы ушли в Ленинград. Испанию нельзя не полюбить, прочитав Сервантеса и светловскую «Гренаду», но стоит хоть раз прикоснуться к горячей

щеке этой удивительной страны, и любовь к ней становится неизмеримо больше.

Второе наше свидание состоялось в первый год сражения молодой Испанской республики с фашизмом. Эта встреча волнует меня и сегодня, она не забудется до последних дней жизни. Горячие объятия, слезы радости, улыбки благодарности, тревог и надежд. Тогда русские Иваны становились Хуанами, украинские Василии — Базилиями, белорусские Михаилы — Мигелями и на своих советских Т-24 прямо с причала, в красной пыли дорог мчались к осажденному Мадриду.

В те многотрудные дни Картахена и Аликанте, Валенсия и Барселона — гордые и гневные воительницы, амазонки Пиренеев оказались совсем не похожими на свою родную сестру — кокетливую Севилью. Как все изменилось за два года, даже грозные «гражданские гвардейцы» испанской жандармерии, смотревшие на нас со злобой и недоверием в Андалузии, обнимали советских матросов, дружески хлопали по плечу и вопили во все горло — «Вива Русия!»

Тогда революционная Испания в тяжелых боях отражала бешеный натиск мятежных войск генерала Франко и ландскнехтов Гитлера и Муссолини, их авиационных легионов и военно-морских эскадр.

Мы, советские люди, верные интернациональному долгу, оказывали посильную помощь испанскому народу в первой неравной битве с фашизмом. На долю моряков советского торгового флота выпала великая честь: прорывая фашистские блокады, доставлять сражающейся республике продовольствие, медикаменты, вооружение и боезапасы.

Потом еще два свидания с Испанией в огне. Они оказались более продолжительными, и пусть они состоялись под бомбами впервые увиденных «юнкерсов» и «капрони», но мы тогда прикоснулись сердцем к сердцу.

Однажды из среды земноморской лазури выплыла стальная громадина. Крейсер мятежников «Канариас» огнем своих орудий расстрелял наш мирный дом под золотым серпом и молотом, нас подобрали пираты, и мы стали их пленниками. Глухой, темной ночью моряков вытолкали на причал Кадиса, и мы снова оказались в кругу «гражданских гвардейцев». Сухое щелканье наручников, рипящая кожа расстегиваемой кобуры, вороненые стволы парабеллумов. Нет, это не те улыбчивые парни, обнимавшие нас в Картахене, это костоломы, косившиеся на нас в Севилье.

«Комсомол» расстрелян пиратами! Тревожная весть прокатилась по всей великой Стране Советов, по всему миру. Митинги, митинги, митинги. На заводах и шахтах, в колхозах и институтах, в школах и на кораблях — во всех уголках Советского Союза звучали гневные слова протеста против фашистского разбоя на морских дорогах. Люди труда требовали обуздать фашизм, грозящий планете новым пожаром второй мировой войны.

Советские люди вносили свои трудовые рубли на постройку эскадр новых теплоходов типа «Комсомол» и с душевным волнением ожидали известий о судьбе экипажа погибшего корабля.

Таинственным молчанием, строгой секретностью пираты крейсера «Канариас», «Гражданская гвардия» и тюремщики создавали видимость гибели моряков, якобы ушедших на дно вместе со своим судном. Они проводили эксперимент, как будет реагировать мир в случае варварских расправ с торговыми кораблями.

Что произошло в действительности с моряками расстрелянного теплохода, долгое время оставалось загадкой. Моряков считали погибшими. Но Советское правительство не смирилось с этой мыслью. Неустанно велись поиски экипажа.

Медленно, словно пересыхающая река, потекли дни и годы в сумрачных застенках средневековой тюрьмы Пуэрто де Санта-Мария. Допросы и пытки, голод, грязь и болезни. Крысы и несметные клопиные армии. Приговор к смерти и одиночные камеры обреченных. Дни казались неделями, годы — вечностью. Такой выдалась наша пятая встреча. И пусть она произошла в каменных казематах за решеткой, пусть сопровождалась витающим призраком смерти, но и от этого не поколебалась наша любовь к великолепной Испании, к ее многострадальному народу. Она еще глубже проникла в сердце. Мы породнились горем.

Когда мы покидали центральную тюрьму каудильо Франко, тюремщики предупреждали каждого под расписку: Испания воспрещена! Персона нон грата. Появление в Испании — шаг к исполнению отмененного приговора военного трибунала.

Позже в гестаповских чистилищах Гитлера нам объявили «табу» на более широкий круг стран. Надменный бригадефюрер напутствовал нас в последней тюрьме Везермюнде: «Германия, Италия, Испания, Португалия, Япония поймаем,— выразительным жестом он взял себя за кадык и указал на крюк, торчащий в потолке,— маятником станешь на виселице».

Прошло не так много времени после памятного напутствия бригадефюрера. Муссолини действительно повесили вверх ногами итальянские партизаны. Труп Гитлера сожгли на дворовой помойке. По приговору международного трибунала повесили японских военных преступников. Фашистские заправилы Португалии сметены революцией. Франко ушел к праотцам. Живут и трудятся, наслаждаются мирными буднями, переписываются между собой, встречаются на разных меридианах люди многих стран планеты, чьи судьбы навсегда связала Испания и навеки породнила их.

В июле 1965 года на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Хельсинки, в вестибюле гостиницы Отаниеми крепкими объятиями обменивались седые ветераны интернациональных бригад. Разъезжаясь в родные края, бывшие комбатанты разделили на равные части несколько метров красной широкой ленты. Полметра атласного шелка досталось и мне. Уговор: дожить, встретиться в свободной Испании и торжественно соединить ленты в одну целую, красную ленту, как символ недаром пролитой крови, за мир и свободу прекрасной страны.

ШЕСТОЕ СВИДАНИЕ

Давно отгремела Великая Отечественная война. Давно снял я погоны Военно-Морского Флота, но не простился с морскими дорогами. С 1948 года мостики и палубы торговых кораблей стали моим вторым домом.

В 1969 году первым помощником капитана на турбоходе «Металлург Курако» я отправился вокруг Африки в Страну восходящего солнца — Японию.

Радиограмма пароходства поразила меня, словно гром с ясного неба. Нам предписывается: после выгрузки марганцевой руды в японских портах брать полный груз листовой стали в рулонах и сниматься... на Испанию. Признаюсь, я вздрогнул. Ведь там еще свирепствует каудильо, и его «табу» с меня не снято. А вдруг снова... Как же поступить?

Известно: въезд в Испанию для граждан многих стран Запада и Востока предельно упрощен, безвизный. Зато для граждан социалистических стран и особенно для нашего брата из Юнион Советика установлены железные кордоны, охраняемые сложной пропускной системой: заранее фототелеграфом, по радио, в три адреса Мадрида «Сента-Маре» [1], «Дирекцион генерал де Адуанес» [2] и аген-

[1] «Сентра-Маре» — морской центр.

[2] «Дирекцион генерал де Адуанес» — генеральная дирекция таможни.

тирующей фирме «Вапорес Суардиас» представлять на испанском языке манифесты на груз и транзит, списки пассажиров, следующих в Испанию и прибывающих транзитом, список членов экипажа, визированный испанским консулом. В обычной судовой роли, кроме фамилии, года рождения и должности, обязательно надо указывать звание, национальность, гражданство, место рождения, семейное положение, занимаемую должность, день, месяц и год зачисления на данное судно. Правила поведения в испанских портах требовали: на борт судна никого не приглашать, приглашений с берега не принимать, громкоговорящие аппараты не включать, фотовыставки не выставлять. Выход на берег разрешен морякам с 8 утра до полуночи по местному времени по особым пропускам, выданным полицией в обмен на паспорт. Только одному капитану время пребывания на берегу не ограничено.

Несомненно, такие строгости и полнота сведений, требуемых заблаговременно,— не простая формальность. Каждый член экипажа просеивается контрразведкой на густое сито тщательной проверки. Что же делать? Персона нон грата! Может, стоит перебраться в океане на другое судно, идущее к родным берегам?..

Каждый день мое беспокойство усиливается, а из глубин прошедших лет поднимается какое-то противоборствующее чувство, могучее и прекрасное, как молодость. Рождается неодолимое желание встречи с распятой Испанией. Что-то манит меня к теплой ее щеке, тревожной и гордой улыбке, к горячей, соленой слезе. Что-то зовет до грусти близкое, дорогое и уже размываемое временем.

Нет, я не переселяюсь на другое судно. В крайнем случае, буду отсиживаться на борту своего корабля, пусть даже под каютным арестом, но хоть взглядом еще раз прикоснусь к стране своей молодости. Ведь с ней мы делили и радость и беды. И грех, большой и неискупимый

грех, отвергнуть представившийся случай встречи. «А если охранка снова водворит за решетку?» Ведь они предупреждали, у них свои законы, да и мастерства на провокации им не занимать. Вспомнят что-нибудь старое, а то и новое состряпают...

Шестое свидание! Какая она сегодня, Испания, придушенная тяжелым камнем франкизма? Как все сложится в наших отношениях после тридцати двух лет разлуки? Правда, за это время мне приходилось встречать ее на своем пути в Атлантике и из Атлантики, но каждый раз я проходил мимо. Бывало, даже находился рядом, бродя по Гибралтару, но права не имел к ней прикоснуться. Знаю, знаю и радости не жду, но сколько печали навеет мне наше шестое свидание?

В восточных морях нас задерживали тайфуны, на юге затрудняли ход штормы мыса Доброй Надежды. Сорок два дня добирались мы к берегам Северной Испании. И вот... Удивительное безразличие. Двое суток мы вертимся вокруг собственной якорной цепи на внешнем рейде Сантурсе, пригорода Бильбао, а нас не приглашают в дом. Никто не жалует к нам в гости и даже официальные власти не проявляют никакого интереса. Призывно и укоряюще трубят, ревут наши басистые гудки. Кажется, они могут разбудить и мертвого, но и их надрывный, нетерпеливый рев никого не трогает на берегу, не выводит из состояния какой-то унылой дремы.

С Бискайи дышит резкий северный ветер. Холодно. И это в начале июля там, где юг Франции смыкается с границей Испании. Туда ежегодно устремляются погреться на пляжах тысячи богатых бездельников. Прохлада заставила натянуть свитер. Но как и чем защитить себя от холодного равнодушия Испании? Она совсем забыла наши былые встречи, волнующие объятия и клятвы верности. Забыла или вычеркнула из сердца? А может, горькая обида? Может, моя вина, что бросил ее в лихую годину, что

долго не появлялся на ее пороге? Нет и нет, не то. Она не отвергла дружбу, скрепленную кровью. Ни время, ни жестокость не вытравили из ее памяти все доброе, не выжгли из души молодое. Муками и болью извели прекрасную Испанию. Она тяжело больна, она в прострации.

И все же о нас вспомнили. На третьи сутки к нашему потрепанному штормами борту прижался лебедино-белый катер с латинской буквой «Р» на трубе. Пайлот (лоцман). Застучали ступеньки парадного трапа. Защелкали, словно наручники тюремщиков, словно затворы карабинов.

Первым взбирается полицейский в знакомом, зеленовато-сером френче, вторым — карантинный врач, худой и тонкий, как жердь. Нет, нет, именно вторым, а не первым. За ними лоцман, угрюмый старик-баск в черном берете и с крепкой сигарой в зубах.

— Бона диа (добрый день),— нехотя буркнул он и сразу скомандовал: — Вира якорь!

Повеяло тюремным запахом и свежевыделанной кожей. Я искоса поглядываю на полицейского и жду, жду какого-то важного для себя сообщения. Молчит зеленовато-серый истукан, и только бегающие глаза, и тяжелые, размеренные шаги выдают его присутствие.

Почему же опять гремит якорный канат? К причалам еще далеко. Нас оставляют на внутреннем рейде Сантурсе, не позволяют переступить порог Испании.

— Пожалуйста, сеньоры, по рюмке русской водки! В честь прихода, по обычаям морского гостеприимства.

Молчат сеньоры. Хмурыми они проходят коридорами и отворачивают головы от стенда, скромно рассказывающего о житье-бытье нашей страны: плотина ГЭС, строительство жилого дома, атомный реактор, комбайн в степи, играющие дети, рукопожатия шахтеров, атомный ледокол «Ленин», космический корабль и обаятельная улыбка Юрия

Гагарина. Все это воспринимается как всепроникающая крамола. Страшно, как бы не вползла она в душу истинного франкиста. А еще важнее, не доведи господь, если твой спутник заподозрит, что ты проявляешь какой-то интерес к красной ереси...

Покинули нас первые визитеры без слова, без звука. Только сердито заворчал мотором белый катер и умчался к зеленому берегу, вздувшемуся красно-бурыми горами.

Перед вечером нагрянули гости, официально надутые, придирчивые, недружелюбные. И каждый принялся за свое: Адольфо и Августино — агенты «Вапорес Суардиас» предлагают снабдить судно продовольствием, водой и техническими материалами. От называемых цен у старпома шевелятся уши, и он каждый раз переспрашивает цены на картофель, на мясо, на масло, на рыбу. Таможенники лепят на двери кладовых свинцовые пломбы и наизусть читают параграфы своих законов и вытекающие из них последствия в случае нарушения пломб.

Дон Фредерико — инспектор «Гуардиа Сивиль» — в гражданском костюме и дон Теодоро — шеф полиции Сантурсе — в полной форме и при регалиях недремлющим оком осматривают судовые помещения. Взглянув на фотостенд, дон Теодоро ткнул пальцем в цветной снимок играющих детей.

— Убрать!

— Пропаганда! — поморщился дон Фредерико.

Капитан мило ухмыляется.

— Но ведь это наш дом, сеньоры! — Слово «наш» он проговорил с нажимом и распахнул дверь в кают-компанию. С большой картины на нас смотрит Ленин. В его глазах затаилась мудрая лукавинка.

— Это есть наш дом,— подчеркнуто подтверждает дон Теодоро и закрывает дверь,— а здесь проход, коридор...

Капитан на лету уловил его мысль:

— Докеры работают в трюме. Там у нас голые борта. Здесь же бывают официальные лица, в том числе и ваши представители. Надеюсь, вы не сомневаетесь в непоколебимости их убеждений?..

Мы увлекли гостей наверх. В просторном капитанском салоне стоит густой кофейный дух и пахнет ароматизированными сигаретами. Видимо, это расположило и шефа, и инспектора, и они удобно уселись на диване за длинным столом, поглядывая в сторону портрета Ленина.

Я усердно принялся открывать банку черной икры и крабов, думая о тесноте мира, о превратностях судьбы: «Тридцать два года назад эти распроклятые фалангисты истязали меня и моих друзей, а сегодня обстоятельства вынуждают сидеть с ними за одним столом, да еще угощать их деликатесами...» Я готов биться об заклад, что начальствующие держиморды явились на борт не по служебному долгу и не любопытства ради. Их привела к нам какая-то недобрая цель. Что-то они затевают, присматриваются, принюхиваются. Я подавляю в себе тревоги и каждый миг ожидаю неприятного заявления в свой адрес. А они, черт бы их побрал, как ни в чем ни бывало, сосут водку, активно уничтожают закуски и непринужденно болтают о всякой всячине: о продвижении холодного циклона от берегов Гренландии, о богатых уловах сардин. Восхищаются триумфом баскского тореро Мануэля Алонсо, покорившего испанских любителей корриды новыми искусными приемами в боях с быками, грубо, по-казарменному смакуют прелести Виктории Ланды Фернандес, признанной на недавнем конкурсе красоты 1969 года «примой сеньоритой Сантурсе».

Русская водка одним махом, словно дым, развеяла жандармскую недоступность, сняла сдержанность и заменила ее развязностью. Водка. Коварное горькое зелье. Оно со способностью талантливого интригана примиряет врагов

и разрушает отношения верных друзей, начисто снимает или во сто крат обостряет опасность, раздевает тайны, одетые в броню, и возводит стену секретности вокруг общеизвестного, отвергает явное и превращает в реальность иллюзии. Спустя час и наши гости уже не смущались строгого взгляда Владимира Ильича, забыли о своих званиях и обязанностях, мундирах и намерениях. Дон Фредерико просил для друзей икры и крабов, и дон Теадоро петлял вокруг да около, рассуждая о приятности получать сувениры от моряков всего мира.

Через три минуты из своих резервов я извлек красочных «Буратино» средних размеров и преподнес безобидные сувениры инспектору и шефу. Мои симпатичные фигурки из пластмассы ошеломляющего фурора не произвели. Водка придала гостям смелости попросить, но не вышибла из них способности определять материальную ценность вещам. Дон Фредерико оставил безделушку без всякого внимания, а дон Теодоро крутил, вертел «Буратино» в своих мясистых руках, осторожно коснулся пальцем заостренного, как у аиста, длинного носа и с глубоким сожалением заметил:

— Хорош парень, но у него нос очень красный,— и отложил сувенир в сторону.

Водка водкой, а выработанный иммунитет против всего красного не ослабевает у франкистов в любом состоянии.

Подстаканники. К ним что-то приглядываются наши гости. Так и быть. Считают подстаканники сувенирами. Ажурной резьбы, инкрустированные голубой эмалью, они пришлись им по вкусу. Но и эти подарки — от ручки и до дна подверглись тщательному профессиональному досмотру, не замаскирована ли где-нибудь в лабиринте резных кружев пятиконечная звездочка с серпом и молотом?

В икре и крабах капитан отказал, прикрываясь действиями таможенников: «Что поделаешь, опечатали все кладовые». Дон Теодоро несколько раз порывался пойти и посрывать пломбы, но мы взывали к благоразумию. Сорвать пломбу не штука, а нам отвечать перед параграфами местных законов.

Уже время близится к полуночи, а полицмейстеры и не думают кончать трапезу, они только вошли в раж. Пригласили старпома с фотоаппаратом. Градоначальники наверняка не любят объектива. Увы! Мы ошиблись, они с удовольствием позируют перед фотоаппаратом и не дрогнут сейчас даже перед кинокамерой.

На помощь нам пришла память. Мы остановили свой взгляд на ящике. Подозрительном ящике!

...Перед самым отходом из японского порта Муроран, где мы брали груз, агент сталелитейной фирмы притащил картонный ящик, запечатанный клейкой лентой с японской аккуратностью. С акцентом агент пролепетал по-английски: «Пожалуйста, пиво. Вручите его грузополучателю в Испании — презент от фирмы грузоотправителя». Поставил передачу на стол и унес ноги. Как только подняли ящик, чтобы поместить его в холодильник, сразу же обратили внимание, что картонка необычно легкая. По нашим расчетам, в такую тару должно вместиться не менее дюжины трехсотграммовых бутылочек или банок пива. Значит, вес должен соответствовать пяти-шести килограммам. Ящик весил не более полутора килограмма. Попробовали шатать и прислушиваться, не булькает, не звенит, не стекло, не жесть. Что заключено в этом таинственном ящике? И почему сказано — «Биир»?

Эта загадка интриговала нас всю дорогу. «Адская машина?» Но в ящике не прослушивался ход часового механизма, да и то, что мы благополучно добрались до берегов Испании,— тоже факт немаловажный, полностью отвергающий страшное предположение. Наркотики? Вполне

допустимо. Но неужели таким примитивным способом, с точными адресами и знакомый нам агент?.. Фантасмагория. Скорее всего какое-то недоразумение.

Об этом мы и рассказали инспектору «Гуардии Сивиль» и шефу полиции Сантурсе. Загадочный ящик сработал, он поднял их из-за стола. Вначале ящик переворачивал дон Фредерико, шатал и слушал дон Теодоро, удивленно пожимали плечами. Поднимались и опускались их брови, но вскрыть не решались. Все же передача адресована самому... И тут даже их всемогущая власть оказывалась бессильной.

В первом часу ночи мы, наконец, проводили гостей. Помогли им сойти по трапу на покачивающийся у борта катер. А я еще долго не мог уснуть. Все думал, какую же все-таки они готовят мне пилюлю.

Ранним утром у нас на борту снова появился дон Теодоро. «Ну, теперь он точно уже раскроет свои карты»,— думалось мне.

И он их раскрыл: поглядывая на портрет Ленина, он умолял капитана и меня показать ему фотографию, которую вчера сделал старпом.

Фотопленка еще не была проявлена, и нечего было показывать. Чтобы успокоить перепуганного франкистского служаку, мы вынуждены были в срочном порядке проявить пленку, вырезать кадр с их малосимпатичными физиономиями и вручить шефу на память. Портрета Владимира Ильича в кадре не было. Старпом не мог допустить, чтобы портрет великого Ленина находился в таком соседстве.

Конечно, для себя я сохранил один кадр пленки с присутствием инспектора и шефа. Для чего? Просто так, чтобы иногда вспомнить свое шестое свидание с Испанией и с грустью улыбнуться.

ЗДРАВСТВУЙ, ИСПАНИЯ!

Через пять дней нас поставили к причалу аванпорта Бильбао Сантурсе. За сорок семь суток впервые ноги матросов коснулись земной тверди. Здравствуй, гордая страна басков!

По носу судна громоздится массивная высокая стена, защитившая порт от свирепых западных набегов Бискайи. Такие же стены окружают тюрьму в Пуэрто де Санта-Мария. Вдоль борта тянется серый каменный пакгауз. И он похож на тюремный корпус. А по корме установлена раздвижная железная решетка с калиткой и караульным полицейским. С наступлением вечерних сумерек и до утра, до начала разгрузки судна решетка перегораживает причал, и корабль оказывается в тюремной камере порта. Утром докеры, идущие выгружать наши трюмы, предъявляют часовому пропуска. По пропускам уходят со смены и отмечаются в специальном списке. Все тут ныне поставлено по тюремному образцу. Что с тобой сделали, Испания?! Где твое обаяние, твоя открытая душа, твоя приветливость?

Полицейские принесли стопку выписанных пропусков, но с оговоркой: «В силу «чрезвычайного положения», объявленного в стране еще в начале года, экипаж увольняется в город с восьми утра до наступления темноты». Капитан пользуется правом свободного выхода, и его пребывание на берегу не ограничено временем. А мне пропуск не выписан. Персона нон грата. Значит, моя фамилия занесена в черную книгу. «Ну что ж, хорошо отделался,— подумал я про себя,— могли и подкаютный арест определить, а могли...»

О небо! Что за благодать свалилась на меня, за какие заслуги!? Полицейский объясняет: «Примеро-офицер (первый офицер) пользуется правом капитана». Заявление полицейского насторожило меня. Почему вдруг такая

привилегия? Не кроется ли здесь какой-то подвох? Может, они хотят выманить меня на берег, чтобы выследить, спровоцировать? Осторожность и осмотрительность!

Раздумывая над совершенно неожиданным для меня поворотом дела, я склоняюсь к мысли, что скорее всего такую милость высокого начальства я заслужил хорошим угощением и деятельным участием в изъятии «компрометирующего» кадра фотопленки. Но не утешайся, брат, не утешайся. Прочь благодушие, и ухо держи востро! Конечно, отсиживаться на судне я не намерен, предоставленное право неограниченного нахождения на берегу придется самому себе ограничить, но в городе побывать надо.

...Последняя ступенька родного трапа, и я снова на испанской земле, земле, политой кровью моих товарищей, дорогой мне земле, где за правое дело полегли смертью храбрых мои друзья-земляки, и пусть холмики их могил сегодня стесаны злобной рукой, но их прах остался здесь и стал вечной частицей этого горемычного края.

Мы прошлись с капитаном небольшим пальмовым сквериком, дошли до рыбачьей гавани. Покачиваются моторные баркасы, толкают друг друга тугими деревянными животами. Безудержно шумят оптовые перекупщики рыбы, протискиваются вперед локтями, языками туманят рассудок не умеющих торговаться рыбаков. И здесь же, над водой, вокруг бодеги «Пескадор», дымят мангалы. На горячих решетках разложены ряды серебряных сардин. На красные уголья стекает жир, густой запах жареной рыбы и терпкого вина стелется по бухте, щекочет в носу и зазывает тех же рыбаков платить вдвойне за только что проданное вполовину дешевле.

Над водой и баркасами, над рыбным чадом и торговым гамом возвышается закутанная в гипсовую мантию, увенчанная короной сеньора Ла Вирген дель Кармен — покровительница Сантурсе. Левой рукой она поддерживает упитанного младенца, а правая застыла в традиционно-

остепеняющем жесте: «Сдержанность и покорность, сеньоры, прежде всего!» Но никто не внемлет ее призыву, и от этого печальны лица мадонны и ее чада.

Три часа прогулки, бокал пива «келер» и полдесятка жаренных на угольях сардин — для первого раза вполне достаточно.

...На судне нас ждали гости. Из столовой команды донесся чисто русский говор незнакомого человека: «Франко исполнилось семьдесят семь и тридцать лет его правления Испанией...»

Худощавый, средних лет мужчина шагнул нам навстречу и, протянув руку, отрекомендовался:

— Хосе. Я «испанский русский».

В 1937 году восьмилетним мальчиком его вывезли из-под бомб в Советский Союз. Воспитывался Хосе в испанском детском доме в Одессе на Пролетарском бульваре. Получил среднее образование и специальность токаря-слесаря. Работал на заводах в Москве и Свердловске, а спустя двадцать лет вернулся на родину, устроился токарем на заводе «Дженерал моторс», женился, имеет сына и дочь.

В каюте мы познакомились ближе и повели дальше разговор о жизни. Хосе очень словоохотлив; видимо, встречи с советскими людьми для него стали необходимостью. Перед ними можно излить душу, они все поймут, как-никак в их семье он прожил два десятилетия, и эти годы не прошли бесследно.

— У меня две мамы,— как-то не по-взрослому говорит Хосе,—одна родила, другая вырастила и направила в жизнь.

После Советского Союза в Испании не все пришлось ему по душе. Вот уже двенадцать лет, а ко многим вещам он никак не может привыкнуть. Скучает по искренности отношений, по широкому размаху деятельности, по товариществу. Ни одно советское судно, бросившее якорь в здешних водах, не обходится без его посещения. Он

сетует на жестокость режима, террора, бесправия и социальной несправедливости, на пропасть между богатыми и бедными, фалангистами и созерцателями, на дороговизну и нищенский прожиточный уровень.

— Жизнь сложная и тяжелая,— вздыхает Хосе,— много крови. Инспектора полиции провинции Гипускоа убил в Ируне Мигуэль Эчеверия. Он неуловим. Полиция схватила двести заложников. Арестовали одиннадцать священников и с ними самого епископа Бильбао. Никого не щадят. Не страшны тюрьмы, страшны пытки. Мучают огнем, водой, электричеством. Мне рассказывал один патер, как раскаленным паяльником касались его пяток, заставляли ползти на коленях и на полу целовать портрет каудильо. Женщинам перед допросами показывают на экране страшные пытки, заснятые на кинопленку. Простой вор, насильник, убийца процветают. Поймают — набьют морду и выгонят. Переполнены тюрьмы. И десять песет в день не хотят тратить на их содержание. А чуть-чуть пахнет политикой, всегда найдется и место в тюрьме, и денег не пожалеют. Но баски — люди, плюющие в лицо смерти. Они не сдаются. Вся Баскония читает «Энбата». Газету издают во Франции баскские эмигранты. На нашем заводе читают подпольную газету коммунистов «Мундо обреро». Даже «гражданских гвардейцев» бросает в жар и холод одно слово «ЭТА» — «Эускади Та Аскатасуна» (страна басков и свободы). Очень боевая организация. Она действует жестко, и люди ее всюду. Они делают погоду в Баскопии. Может, поэтому в провинциях Бискайи и Гипускоа и поселились многие репатрианты из Советского Союза...

— Как живут «испанские русские»?

— О, это большая трагедия. Многие с высшим советским образованием не могут устроиться на работу. Скучают по второй своей родине. Все находятся под гласным или негласным наблюдением полиции.

— Но вы, «испанские русские», собираетесь вместе, помогаете друг другу?

— Бывает, но очень редко. Собираться вместе — можно вызвать подозрение у полиции. Да и жизнь тут устроена не так, как в Союзе. Каждый занят своими проблемами, и не принято доверять многого. Сказать правду, и среди «испанских русских» нашлись всякие. Некоторые продались франкистам, стали доносчиками. Их немного, но есть. А случайно встретятся на улице три-четыре человека — говорят по-русски, вспоминают Россию, Украину и плачут. Вот сколько иностранных судов стоит в портах, а ни на одно судно никто не идет. А появится в порту советский теплоход — всех тянет к вам магнитом. Я уверен, что и сейчас на вас смотрят десятки пар глаз со всех возвышенностей Сантурсе. Разрешили бы ходить на советские корабли — было бы настоящее паломничество.

— А как же вам удалось пробраться к нам на борт?

Хосе самоуверенно хмыкнул:

— Ну, чтобы я не побывал! Надо уметь. Я же в Одессе жил. Сегодня знакомый полицейский дежурит.

И хотя ответ его казался вполне аргументированным, все же в этом правдоподобии сверкнула какая-то фальшь, а может, мне показалось.

Начались расспросы о Советском Союзе, о Москве, Ленинграде, Одессе. Вспоминались улицы, дома, друзья. С одними он переписывается, с другими потерял всякую связь. Потом Хосе предложил свою программу: побывать на пляже Альгорты, съездить в горы, в Бильбао...

— Хотите, смотаемся в Гуэрнико (Герника),— проговорил он шепотом,— а будет охота — махнем дальше: Сан-Себастьян, Пасахес, Ирун — двести пятьдесят километров и все удовольствие. За день туда и назад. Можно и в Сантандер — сто пятьдесят километров, всего полтора-два часа езды...

— А что скажет полиция?

— У вас свободный выход? А нет — возьмем разрешение. Со мной в Испании не пропадете.

Чем больше он набивал себе цену, тем меньше оставалось у меня к нему доверия, усиливалось подозрение: слишком уж смел этот парень, не влипнуть бы с ним в какую-нибудь авантюру. И в то же время все, что он предлагал, было очень заманчиво. Герника. Первый город в мире, снесенный с лица земли фашистской авиацией Гитлера. Сан-Себастьян. Здесь довелось мне побывать на немецком тральщике, когда нас перевозили из Кадиса в гестаповские тюрьмы Германии. Пасахес. На дверях против наших камер в тюрьме Санта-Мария писалось мелом название этого города. Там находились заключенные из этих мест. Ирун. Это у самой границы Франции с Испанией. Там находились в тюрьме наши товарищи, моряки с советского теплохода «Смидович», захваченного пиратами Франко. Сантандер. Этот город связан с боевыми действиями советских добровольцев-подводников. Все потрясающе интересно. Но и рискованно.

Наотрез отказаться от поездок — не хватило сил, а принять все его предложения не нашлось смелости, и я промычал что-то неопределенное, вроде нудного: «Посмотрим, как сложатся обстоятельства».

На этом мы простились с Хосе и условились встретиться через день, когда он будет свободен от работы на своем заводе. Что-то не лежит душа к этому человеку. Невидимое и непонятное магнитное поле сдерживает меня от симпатий к нему. А может, у меня такой настрой во всем видеть хитросплетения? А может, я еще плохо ориентируюсь в обстановке современной Испании? Поживем — увидим.

В капитанском салоне я застал агента фирмы «Вапорес Суардиас» Адольфо Нуньес де Кастро. Он говорил капитану, что передал нашу просьбу сеньору Мануэлю,

владельцу прибывшего груза, чтобы тот как-то распорядился адресованным ему странным ящиком с пивом.

— Он сказал «Бьен» (хорошо), но мне не поручил доставить картон в Офис...

Ночью в Сантурсе возникла стрельба. Почему-то выключили свет, и город и порт погрузились в кромешную тьму. За железной решеткой мы были в полной безопасности. Нас охранял полицейский. Он был встревожен и всячески ругал «бандитос «ЭТА».

Наша судовая электростанция работала исправно, и над нашим судном сиял яркий свет.

ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ...

Хосе не бросал слова на ветер. Он оказался обязательным человеком и через день приступил к выполнению предложенной программы. Он не повез нас в отдаленные города, и поначалу, чтобы дать нам время освоиться с обстановкой, пригласил к себе домой, познакомил с женой и своими ребятишками, угостил обедом с бутылкой анисовой водки.

— Конечно, это не русская горькая,— заметил хозяин,— но на Луне и такой нет.

Луна в эти дни была первой темой в каждом доме, она врывалась в любой разговор. Американские астронавты из полета к Луне возвращались на Землю, и в их космолете возникли серьезные неполадки, встревожившие весь мир. В даль небесных просторов взмыл советский корабль. Это событие по-разному комментировали в Испании: «Русские спасают», «Советы следят», «Русские угрожают», «Советы предлагают помощь», «Советы мешают...» — противоречивые, сенсационные аншлаги заполнили газетные страницы.

— За благополучное приводнение астронавтов! — провозглашен первый тост.

Разговор за столом переходил от дороговизны помидоров на рынке до Луны и от футбола до высокой политики. Хосе на свою жизнь не жаловался и не восторгался ее благами. Он взывал к всевышнему.

— Дай бог не хуже!

— И чтобы реже вызывали в полицию,— хмуро вставила жена по-испански.

И за это мы пригубили рюмки.

Супруга Хосе — типичная испанка, хотя, видно, с крутым, своенравным характером. В доме она полновластная хозяйка, и ее воле, видимо, подчинен Хосе. Такое в Испании встречается редко. В присутствии жены супруг вел себя сдержанно и часто поглядывал в ее сторону, понимая все с первого взгляда. Очевидно, прав на власть супруга имела больше, чем Хосе. Всю свою жизнь она безвыездно прожила в этих краях, за ней не числится никаких грехов в полиции, а главное она — дочь зажиточных родителей. А кто такой Хосе? Простой рабочий с прошлым, привлекающим внимание полиции.

— Да, полиция усердствует,— вздохнул Хосе,— раз, а то и два каждую неделю вызывают и смотрят в глаза, удостоверяются в моей лояльности. Ни о чем не спрашивают, посмотрят, посмотрят и говорят: «Можешь проваливать». Напоминают о своем недремлющем существовании. И все же мне повезло: удачно устроился на хорошую работу.

Когда жена вышла на кухню, он вполголоса с горечью добавил:

— Четыре миллиона рабочих людей покинули страну. Больше миллиона осело в Аргентине, полтора миллиона в других странах Южной Америки, столько же в Европе. Только во Францию бежало более 800 тысяч. Так что жизнь — держись!

Странно. Почему он заговорил вполголоса? Надо полагать, русского языка жена не знает, или это выработанный рефлекс — о горе людском говорить тихо?

— На суде, во дворце юстиции шахтер из Астурии сказал судьям: «У нас есть два пути — молча умирать или бороться. Я избрал второй». Его осудили на тридцать лет.— Хосе тяжело вздохнул, закурил сигарету, и в его тихом голосе послышались тревога и даже осуждение.

— Они забрасывают камнями банки и офисы, несут плакаты — «Вон диктатуру. Франко — нет, рабочие — да!» С каждым годом волнения усиливаются. И бог знает, во что все это выльется... Позавчера слышали перестрелку? Это студенты из организации «ЭТА»...

Почему об этом он говорит с тревогой, если ему ненавистен режим Франко? Что это — боязнь потерять теплое местечко или боязнь перемен вообще, влекущих за собой нечто большее?

Он заглянул мне в глаза, как-то жалко и растерянно улыбнулся:

— Давайте выпьем по-русски, до дна, выпьем за прекрасную нашу Россию!

После обеда из Сан-Сальвадоре мы отправились на автобусе до селения Арболеда. Дождались фуникулера и поднялись на тысячу метров над уровнем моря. Сидя в полупустом вагончике, Хосе прильнул к моему уху и прошептал:

— По девочкам соскучился?

Вопрос был настолько неожиданным, что я растерялся и не знал что ответить.

— А девочки здесь — конфетки,— продолжал он,— и мне очень хочется сделать для вас что-то сверхприятное.

Придя в себя, как после нокдауна, я улыбнулся:

— Конфетки? Так именуют ныне проституток, бывших обитательниц публичных домов?

— Не надо так грубо,— оскорбился Хосе,— каждый зарабатывает, как может. Разве разумно отказываться от сотни песет, если на собственную красоту и молодость большой спрос?

— Всего сотня? Так дешево ценится молодость и красота?

— Ну это кругом-бегом, приблизительно. Легальные публичные дома запрещены, но много есть пансионатов. Девочка снимает номер, конечно, за счет партнера. Вместе с ней он должен поужинать или пообедать, с вином разумеется, с сигаретами. Ну, и ей оставить после всего двести-триста песет, в зависимости от пикантности. Обо всем этом договариваются заранее.

— Понятно. Любовь в три-пять тысяч песет с неограниченным масштабом последствий.

— Никаких последствий, кроме приятных воспоминаний. Ты когда-нибудь в Испании бывал?

— Никогда в жизни.

— А книги читал об этой стране?

— Бывало...

Мне хотелось еще раз расспросить Хосе о некоторых деталях покупной любви, но мы уже достигли конечной остановки, и надо было покидать вагон.

С вершины красной горы нам открылась вся захватывающая панорама белых домов с разноцветными крышами, зеленый шум садов и парков и голубизна Бискайского залива. Здесь, на вершине горы, хорошо продувал западный ветер, и ишаки, избавленные дыханием океана от назойливости мух, сбились в гурт и стоя безмятежно дремали, не шевеля даже ушами. Стоявший в стороне осленок доверчиво подошел к нам и потянулся ушастой мордочкой к нашим рукам. Хосе шарил в своих карманах, ища какое-нибудь лакомство, но ничего не нашел, кроме сигарет.

— Надо чем-нибудь угостить. Вырастет, может стать крупным деятелем.— Прикурив сигарету, он вставил ее в губы ишачка.

Ослик скривился, зажмурил глаза от дыма, обиженно и непочтительно повернулся к нам хвостом и ударил задними ногами в нашу сторону.

— Типичный хефе (начальник)! Ты явно созрел для высокого поста в полиции.

Мы вполне заслужили такую «благодарность» ослика. А говорят, что ослы — скотина самая глупая.

Красно-бурой дорогой рудной горы мы шли к бодеге Педро, чтобы утолить жажду пивом. Под ногами валялись комья бурого железняка. Железная гора не разрабатывается, говорят, невыгодно, пока есть породы с большим содержанием железа.

Пиво у Педро отменное. Но и цена приличная: одна полуторастаканная бутылочка стоит четыре песеты. Полстакана вина — одна песета. Вино дешевле пива. Педро говорит, что власти строго следят за торговлей вином, не дай бог повысить на него цены — неприятностей не оберешься. На все можно набавлять песеты, только не на вино.

— Почему именно цены на вино под такой неусыпной охраной?

Педро лукаво улыбается, корчит смешную гримасу и смотрит на Хосе.

— Не знаю, традиционный продукт Испании...

Скобки раскрывает наш гид:

— Люди должны пить вино, тогда они меньше вспоминают прошлое, не задумываются о будущем, а настоящее кажется им прекрасным.

Смелый и, наверное, правильный ответ.

На южном склоне горы огромным изумрудным зеркалом между черных скал поблескивает горное дождевое озеро. В сочной зелени ютится селение Райнита. Говорят,

прошлой ночью «Гуардия Сивиль» там провела облаву. Арестовано двадцать семь человек.

— Они тоже пили мое вино, но, вероятно, оно оказалось для них не очень крепким,— резюмирует Педро.

На судно мы вернулись к вечеру. Перед входом в порт попрощались с нашим спутником. Завтра в одиннадцать он будет ждать нас у покровительницы Сантурсе сеньоры Ла Вирген дель Кармен. Обещает открыть нам роскошные пляжи Альгорты и обеспечить теплую воду в заливе и доброе солнце.

Наш причал уже перегорожен решеткой. Карабинер у приоткрытой калитки внимательно просмотрел паспорта. Еще и еще раз взглянул на лица, на фотографии и кивнул головой, разрешая проход в запретную зону для всей Испании.

В каюте я включил радиоприемник, слушал испанскую музыку и размышлял о противоречивом поведении Хосе: проявление ли в этом истинной непосредственности колеблющегося человека, непостоянства характера или непрофессиональное исполнение отведенной ему роли, которую он забывает, часто сбивается и шарахается в крайности? А «девочки-конфетки»? Как расценить этот его порыв «сделать сверхприятное»? Обыкновенный циничный взгляд на жизнь западного обывателя, сочувствующего монашескому образу жизни моряков, а может, брошенный крючок с традиционной наживкой, поставленная петля-ловушка? Одно ясно: Хосе — личность для меня не понятная, не разгаданная.

И сам я хорош. Временами забываю, где нахожусь, становлюсь беспечным, попираю собственный завет «держать ухо востро». Слишком быстрый процесс адаптации вреден, он способствует потере остроты восприятия и трезвой оценки окружающей действительности.

Утром на судно пожаловал новый консилиум полицейских и таможенных чиновников. Таинство японского

ящика, вернее его содержимое, не дает им покоя. Нетерпливость адресата забрать передачу с советского судна еще больше разжигает в них подозрительность и любопытство. Как знать, может, картонка и то, что внутри, вовсе не из Японии, а какой-то коварный трюк Москвы? Все они поочередно вертят, крутят, встряхивают злополучный ящик, нюхают его, прослушивают, а вскрыть охотника не находится. Еще раз рекомендуют нам через агента напомнить сеньору Мануэлю о том, что его ожидает передача из Мурорана.

— Скажите ему, что не исключено, в ящике может быть что-то скоропортящееся,— наставляет таможенный чиновник.

А Хосе, наш добросовестный гид-бессеребренник, уже ожидает в условленном месте. Не Хосе, а сама пунктуальность, по нем можно сверять часы. Сегодняшнее солнце по его заказу торопиться не позволяет, и мы шагаем грязными, захламленными улицами рабочих кварталов не спеша, вразвалочку. Городской бассейн и морское училище как бы разделяют мир веревок и вывешенных стиранных рубах и штанов от мира геральдических львов, орлов и рыцарей на гербах. Это чопорная Португалета. Красивые роскошные дома, обнесенные ажурными заборами, ухоженные палисадники и вьющиеся гирлянды цветов. На их тонких запахах настояна тишина фешенебельных вилл и особняков. Здесь живут власть имущие, не умеющие считать песеты, если их меньше тысячи. У белого каменного парапета степенно движутся молодые испанки в небесно-голубых платьях с белыми передничками и в белых шапочках, кокетливо посаженных на прическу. Каждая катит перед собой коляску всю в никеле на мягких пружинах-амортизаторах. В колясках лежат и сидят малыши, не умеющие ходить, и барчуки постарше, уже способные гонять собак. Перед колясками перебегают дорогу сорванцы-замухрышки. Шумной ватагой они

несутся к ленивой реке Нервион и с недоброй завистью поглядывают на своих сытых сверстников, на своих будущих господ. Из-под навеса коляски удивленно смотрит на оборвышей розовый мордастый отпрыск лет пяти от роду. Мечется, мечется в его глазах умирающее детское озорство, и он завидует этим чумазым, завидует их резким движениям, бегу вприпрыжку, горластому смеху, завидует их безнадзорной воле.

Катят и катят коляски «голубые сеньориты», читают на ходу толстые, тонкие книжицы, читают вслух и про себя, а думают... думают о своих дорогах, будут ли у них свои дети, и не могут, не могут угадать, предсказать, как сложится судьба, будут ли их собственные малыши бегать в бархатных курточках и в щегольских штиблетах или в тряпье, босоногими...

Воздушный паром (подвесной вагон под ажурным мостом) перенес нас на правый берег Нервиона. За селением Ласаренас от серой полосы автострады до голубизны воды раскинулся широкий золотой пояс пляжного песка. Он кажется намного шире от бултыхающихся тел на прибрежном мелководье. Это — знаменитые пляжи Альгорты. Какая благодать — погрузиться в свежую, прозрачную лазурь, поплавать всласть и понырять! Моряк всю свою жизнь проводит на воде, проходит сотни тысяч миль океанами, весь до костей пропитан соленой синевой, а вволю поплескаться в бодрящей купели моря ему доводится очень редко.

Мы быстро разделись и бросились к воде, как бы растворились в массе купальщиков, исправляя обидный парадокс.

Кипит, бурлит Кантабрийское море от всплесков купающихся людей. На горячем песке великое лежбище загоревших, разгоряченных тел. И вдруг — черная тень. Твердым шагом лавирует гражданский гвардеец — вездесущий страж режима. В своем темно-сером суконном

мундире, черном лакированном котелке, увенчанном на затылке стабилизатором, с качающимся пистолетом-пулеметом на груди среди людей в купальниках и плавках он выглядит нелепым и смешным.

Распаренный зноем, отупевший от презрения и жестокости, бредет страж, осматривая стоящих, лежащих, сидящих. Он никого не ищет, не ожидает антифранкистской демонстрации полуобнаженных пляжников. Он просто маячит, как неотъемлемая деталь власти для устрашения.

Неуклюжую фигуру гвардейца сверлят тысячи пар насмешливых глаз и провожают его едкими улыбками, издевательскими гримасами.

Хорошо прожарившись на песке Альгорты, Хосе заговорил о том, что было у каждого на уме:

— А не попить ли нам пива?

И мы дружно двинулись к павильону под тентом и на общих правах пляжников молча пристроились в небольшой хвост очереди. Но Хосе, талантливый воспитанник Одессы, разговорился вдруг по-русски и на повышенных регистрах. Вмиг очереди не стало, она расформировалась и взяла нас в окружение. «Русо?» «Русо». «Русо!» Никто ни о чем не спрашивал, они смотрели на нас, а мы — на них, говорил один Хосе. Рассказывал о нашем судне, о нашем рейсе — сугубо деловая информация вне всякой политики.

И все же я посматривал в ту сторону, куда недавно прошагал гвардеец. К счастью, его фигуры не было видно, и это вселяло в меня надежду, что нам удастся выпить пиво и без участия «Гуардии Сивиль» добраться на судно.

Я узнаю испанцев, они остались такими, какими я их знал тридцать два года тому назад. Вначале нас пригласили выпить пиво вне очереди, а затем стали подносить

кружку за кружкой в порядке угощения. Оказывается, на суше утонуть проще, чем в океане. С птичьего полета я представлял собой сердцевину огромного диковинного цветка, обрамленного лепестками пенистых шапок.

Хосе светился счастьем. Он был доволен искренним радушием своих соотечественников и горд тем, что являлся нашим пляжным предводителем.

Прорвав пивную блокаду, мы вернулись к своим брюкам и рубашкам. Еще раз искупались, но уже не могли, как полчаса назад, раствориться в массе купающихся. Покой незаметности изменил нам. Весь пляж знал о том, что мы русские из Юнион Советика, и каждый считал своим долгом одарить нас вниманием. Одни издали смотрели в нашу сторону, по-доброму улыбались, подмигивали, пошевеливая пальцами. Кто посмелее, те старались пройти мимо, коснуться локтем, тихо и как бы невзначай проговорить «Салуд, компаньеро», самые же смелые на миг останавливались, пожимали нам руки и дарили все, что может подарить пляжник: зажигалки, авторучки, спички, брелки, очки. Пожилой высокий и сухопарый баск, похожий на Дон-Кихота, стянув со своей седой головы чёрный берет, блином посадил его на мою голову и, хлопнув по плечу, за что-то поблагодарил: «Мучас грасиас» (премного благодарен).

Наши пляжные соседи справа конфисковали у своей кареокой дамы сумочку и почти все содержимое обратили в сувениры: веер, пилочку для ногтей, крошечный молитвенник. С немалым трудом нам удалось сохранить даме черный столбик помады. И тогда кареокая в серебристом купальнике сняла с левого уха маленькую сережку в виде якорька с изумрудом.

— Буэнос мемориа! (На добрую память).

Видимо, этот жест пришелся не по душе ее мужу, а может, и другу, и он, горячась, попытался снять вторую

серьгу. Женщина остановила его властным жестом и категорическим «Нет».

— Буэнос мемориа! — пальцами она показала: «Одна у вас, другая у меня»,— и добавила: — Мучос аньюс! (много лет).

Мы старались не остаться в долгу и раздарили все, что было в наших карманах. К сожалению, рядом с нами не было знакомой с дамской сумочкой, и наши скудные запасы сувениров быстро иссякли. Последнее, что мне пришлось подарить другу кареокой,— плетеный поясной ремень с костяной пряжкой.

Чтобы не оказаться свидетелями назревающей сцены ревности, мы быстро удалились, мило распрощались с соседями и вышли на горячее шоссе ловить такси. По пути Хосе снова напомнил мне о девочках.

— Я уже почти договорился, надо назначить время. Дались же ему эти девочки, будь они неладны.

— Хорошо, время уточним,— буркнул я ему, чтобы отстал,— а девочкам, наверное, лет под пятьдесят з гаком?

— Ну что ты, совсем-совсем молодые, восемнадцать, двадцать лет от силы, можно и помоложе найти.

У сеньоры Ла Вирген дель Кармен стояла группа женщин и мужчин. Они смотрели в нашу сторону и тихо о чем-то говорили. Странно. Одна из женщин, вон та в сиреневой кофточке, чуть заметно поклонилась нам, а коренастый испанец из этой компании как будто кивком головы позвал нас к себе. А может, все это мне показалось?

Мы спешили на судно и прощались с Хосе, а он испытующе заглядывал в глаза.

— Послезавтра я жду ответа,— бросил он в двух шагах от трапа...

НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

На темно-зеленые холмы взбирается солнце, окутанное густым сизым маревом изгоняемой ночи. Отполированное розовой ранью море усеяно белыми комочками чаек. Они затемна проводили в Бискайю рыбаков и теперь ждут их возвращения.

С рассвета надрывно рычат и стонут грузовые краны, с трудом вырывают из гнезд пятитонные стальные катушки тонкого проката. Докеры незло поругивают своих японских коллег за то, что те деревянными клиньями и клинушками так плотно закрепили груз, словно сцементировали его. И теперь, чтобы разрушить этот стальной монолит, приходится тратить лишние минуты. Я смотрю, как раздавленные клинья превращаются в мочалки, как разлетаются по сторонам щепки, и упрекаю себя в неоправданном недоверии к японским крепильщикам. Ведь я думал тогда: «Ну что эти деревяшки для свирепого океана?»

Целую неделю в районе Дурбана валила нас с борта на борт разъяренная стихия. Под тяжестью груза и обвалов водяных гор трещало судно. Из умывальника вылетало и шлепалось на палубу замоченное для стирки белье, пулями выскакивали шурупы из пластиковой обшивки каютных переборок. Мы потеряли срезанные волнами грузовые электроподстанции, вьюшки с тросами, релинги, кожухи, до десятка трещин образовалось вдоль шпангоутов. Не раз я подумывал о грузе: «Стоит сорваться одной катушке и загулять по трюму...» Напрасные опасения. Груз оставался на своих местах. Оказалось, что и дерево, искусно расположенное умелыми руками, может выдержать тысячетонные нагрузки.

К завтраку на судне появился агент Аугустино. Он был в хорошем настроении и сообщил весело:

— Конец злополучному ящику! Сегодня обязательно приедет один из клерков сеньора Мануэля и заберет картонку в офис. Так сказал мне сам патрон.

Выпив чашечку кофе, Аугустино воскликнул:

— О, дон Мануэль, почтенный сеньор! Он истинный католик и дистиллированно верный принципам каудильо. Он никогда не бывает на судах, где пахнет красным. Он всегда занят и боится контактов с социализмом. Но охотно вступает с ним в деловые отношения, если есть выгода.— За восхищением Аугустино проглядывалась еле заметная ирония.

В этот день Хосе был занят на заводе, и я решил съездить в Бильбао без сопровождающих. «Безумец, легкомысленный мальчишка, доверчивый осел. Мало тебя учила жизнь и немногому выучила,— ругал я себя, шагая причалами.— Как можно в стране, где ты числишься государственным преступником, так вольно расхаживать и разъезжать, доверившись полицейскому «вездеходу»? Трижды уверен и семь раз убежден, что за каждым моим шагом на берегу следят и охотятся за каждым действием...»

В этот момент я встретился взглядом с пожилым мужчиной. Он медленно шел вдоль серебристой стены выстроившихся контейнеров, явно кого-то поджидая. Незнакомец еле заметно поклонился и, чуть пропустив меня вперед, пошел по моим пятам метрах в двух правее. Так шли мы по направлению к железнодорожной станции минуты две-три. Когда докеры, грузившие в контейнеры репчатый лук в сетках, оказались позади, у себя за спиной я услышал русские слова.

— Я называюсь Пабло, по-русски Павэл. Куда ты идете?

«Ну вот и сопровождающий нашелся»,— подумал я и, повернув голову в его сторону, ответил:

— Намерен съездить в Бильбао.

— Карашо. Хотишь, я буду ехать с тобой? Пожалуйста, рядом ходить не надо...

— Пожалуйста, если вам по пути,— это я уже проговорил сонным пальмам, не поворачивая головы и не видя своего собеседника.

Молча прошли мы всю набережную Сантурсе. «ЭТА», «ЭТА», «ЭТА» — отовсюду смотрит на прохожих короткое слово, вселяющее страх. Со всех домов, заборов, тротуаров и даже с цоколя покровительницы Ла Вирген дель Кармен. Это слово вызывающе дразнит полицейских. Черные крупные буквы, написанные размашистой кистью, грозно напоминают о присутствии и решительности подпольной организации.

— Партизан, баски,— комментирует мой странный спутник,— они ночью стреляют, потом ставят расписку. Раньше полиция быстро-быстро замазал это слово, теперь но быстро...

Я остановился у рекламного стенда. Красочные полотнища афиш на все лады восхваляют мастерство «русского цирка». Остановился и мой преследователь.

— Это есть германский цирк, Вест-Берлин,— услышал я у себя за спиной,— один акробат Иван — сын русский эмигрант, ничто не знает по-русски, только «здравствуй» и «спасибо». Спекулянт на русский имя, а люди идут, думают — русский настоящий...

Рядом с «русским цирком» — скромный анонс о приезде в Бильбао украинского ансамбля танца под руководством Павла Вирского.

— Быстро ждем ансамбль танцо Украина. О-о-о! Но один билет, все купили... Здесь был соревновался много стран настоящий русский летчики. Летал в небо лучше русский летчики, молодец! Я помню русский летчики, война, Испания — молодец!

Пока я разбирался на станции, где продают билеты и сколько они стоят, мой спутник купил в кассе два билета

по десять песет и один из них незаметно отдал мне. В моих мыслях рождался план, как избавиться от непрошеного гида: может быть, стоит пропустить его первым в вагон, а самому вскочить в другой, а может, вообще остаться на перроне и подождать следующий поезд. Но тут подошла электричка, и мой надзиратель снова оказался за моей спиной. Мне ничего не оставалось, как войти в вагон первым. Опытный сопровождающий.

После остановки в Португалете поезд влетел в черный зев длинного тоннеля. В темноте Пабло крепко пожал мне руку и тихо проговорил:

— Мы найдем карошип место. Там можно говорить без глаза, без ухо агента.

«А кто же ты такой? — мысленно спрашивал я себя.— Искренне пожимаешь руку или придерживаешь, чтобы я в потемках не улизнул от тебя?»

Под колесами прогудели два моста, еще два коротких тоннеля, и через полчаса мы вышли на горячие, душные улицы Бильбао.

На площади я спросил:

— Откуда вы знаете русский язык?

— Я был в России. Пленный солдат, «Голубая дивизия».

«Ничего себе знакомство завел»,— подумалось мне.

— Я солдат кароший, добрый солдат, хотел но воевать, хотел искать в России свой маленький дочь. Когда война в Испании, она уехала в Ленинград от бомба.

— И вы нашли свою дочь?

— Но нашли. Была война, я пленный... Сейчас Кончита большая, она — русский дантиста, работает в Памплона, Наварра.

Минут сорок мы шагали улицами, раскаленными июльским солнцем, вытирая платками мокрые лица. Теперь Пабло шел на полшага впереди, а я следовал за ним.

— Здесь работает бармен Элиодоро, мой амиго — друг, баск, карошний человек,— сказал мне Пабло, когда мы вышли на широкую улицу,— там можно говорить но глаз, но уха...

На Гран Виа Пабло распахнул стеклянную дверь, заснованную кружевными решетками из бронзы, и беломраморная лестница привела нас на второй этаж в футбольный клуб «Атлетик». Нам навстречу вышел высокий, плотный мужчина с белыми прядями седых волос, до блеска смазанных бриллиантином и гладко причесанных, с безукоризненным пробором по центру. Поздоровавшись, Пабло представил меня своему другу, застывшему в поклоне. И вдруг бармен крепко обнял меня. Глаза его заблестели, стали влажными. Пожилой, крепкий баск как-то по-детски опустил голову на мое плечо, и я щекой ощутил горячие капли слез. Преодолевая сковавший горло спазм, он тихо и отрывисто заговорил о двух своих сыновьях, вывезенных малышами из Сан-Себастьяна в Россию. Оба они давно женаты, имеют своих детей, но считают себя «русскими басками», работают на заводах в разных городах Басконии «русскими инженерами». Часто навещают отца и могилу матери в Бильбао. Выезжали в Москву, проведывали свою вторую родину. Еще собираются поехать в Россию в 1977 году, на юбилейный праздник 60-летия Октября.

— Много наших судеб переплелось с вашей страной,— переводит Пабло слова Элиодоро,— вот уже сорок лет, как вся Испания невидимыми нитями связана с Советской страной...

Элиодоро поспешил за стойку бара. На ходу он достал из бокового кармана своего черного фрака большой белый платок, вытер глаза и принялся готовить нам угощенье.

Я с интересом разглядывал зал клуба «Атлетик»: витрины с кубками и вымпелами, дипломами и мячами, исписанными автографами знаменитостей футбольного мира.

На стенах — старинные олеографии и среди них большой портрет каудильо. Пабло рассказывает, что во всей Испании запрещены рабочие клубы, собрания интеллигентов, и они довольствуются бодегами и чуррарериями (закусочными). Бизнесмены и футболисты — исключение. Им дано высокое разрешение содержать свои клубы.

Я слушал Пабло и думал о своем: «Бармен для меня человек открытый и понятный, а вот «карошний солдат «Голубой дивизии»... Однако, не передоверяю ли я собственной интуиции и своим первым впечатлениям? Несомненно. Если я поверил в человека с первой встречи, а в дальнейшем он в своей искренности, порядочности вызывает сомнение, я цепляюсь за каждый добрый его жест, за каждую положительную деталь, чтобы не разрушить сложившиеся симпатии и не испытать горечи разочарования. И так же трудно отказываюсь от подозрения и недоверия».

— В «Голубую дивизию» вы вступили добровольно? — спросил я Пабло.

— Си (да). Добровольно. Это есть большой история.— Пабло недружелюбным взглядом скользнул по портрету Франко.— Он виноват, все он виноват...— И добрый солдат поведал мне о своем извилистом пути в «Голубую дивизию»: в 1936 году он сражался против фашистских колонн генерала Мола в одном из батальонов баскских националистов. Когда север Испании был захвачен франкистами, Пабло, чтобы избежать участи «красного», пришлось выслуживаться перед новыми властями. Демонстрируя свою преданность каудильо, он вдруг открыл в себе талант ваятеля, вылепив «шедевр» из гипса — бюст Франсиско Франко. Слава о таланте скульптора-патриота быстро разнеслась по небольшому городку и его окрестностям. Алькальд, желая украсить центральную площадь изображением «отца нации», предложил автору тысячу песет за его творение. От денег Пабло отказался. Он подарил свое

произведение городу безвозмездно и стал уважаемым гражданином даже у полицейских чинов.

Но талант, озаренный солнцем, всегда притягивает к себе грозовые тучи, и они вскоре скопились над головой Пабло. Какой-то военный высокого ранга нашел в выражении лица гипсового Франко черты жестокого мавра и не преминул написать об этом в центр. К месту «чрезвычайного происшествия» из Бильбао прибыл доверенный чиновник и нашел еще больше недопустимых дефектов в скульптуре, обвинив автора в бездарности, а алькальда — в политической слепоте и в «безответственности вкуса». Алькальда сместили и назначили нового. Пабло стал посмешищем горожан, как услужливый гений, усердно разбивший себе лоб, а бюст Франко по-прежнему занимал свое место на площади. Чиновник не предписал, как поступить с порочным изваянием, предоставляя решать дальнейшую судьбу новому отцу города. Что и говорить, алькальд попал в сложное положение. Он долго думал, совещался со своими помощниками, и однажды ночью гипсовый Франко исчез с пьедестала.

Сразу же нашлись «патриоты» и о «вероломном святотатстве» донесли куда следует. Слава богу, глава города не уничтожил бюст. В порядке эксперимента под видом исправления черт лица каудильо предусмотрительно спрятали в муниципальной кладовой и выжидали, каким окажется резонанс. Как только грянул гром, бюст снова занял свое место на площади. Еще более полномочный чиновник из Мадрида установил, что после реставрации образ Франсиско Франко злонамеренно искажен до неузнаваемости, хотя он оставался в первозданном виде, так как рука ваятеля не коснулась его. Бюст только был окрашен бронзой. Пабло попал в немилость, алькальд отделался испугом, а «отец нации» ночью без почестей и свидетелей был навсегда похоронен в глубокой могиле городского кладбища. Официальная версия гласила, что какие-то

злоумышленники похитили скульптуру и бесследно исчезли в неизвестном направлении. Полиция объявила розыски «красных диверсантов», за политическую беспечность алькальда изгнали с должности, а Пабло угодил в тюрьму.

Четырнадцать месяцев и восемь дней понадобилось судебным инстанциям, чтобы разобраться в этом «крамольном деле» и выпустить незадачливого ваятеля за ворота тюрьмы. Пабло не вернулся в родной городок, где прослыл «усердным гением глупости», он обосновался в Сантурсе и страдал от одиночества, лишенный друзей и знакомых, потерявший возможность посещать могилы жены и двух сыновей, погибших от немецких бомб.

Когда Муньес Грандес формировал «Голубую дивизию», у Пабло родилась надежда разыскать единственную дочь, отправленную в Советский Союз, и он ландскнехтом по доброй воле отправился на восток. Где-то у озера Ильмень пережил страшную зиму, не подозревая, что совсем близко в осажденном Ленинграде находилось его родное дитя и что он, любящий отец,— один из тех, кто принес этому городу и его жителям неисчислимые страдания.

Не дослушав его исповеди, я заметил:

— Но «Голубая дивизия» состояла из фалангистов?

Пабло немного смутился.

— Я был кароший католик, меня тоже брали.— И он перевел разговор в другое русло: — Утро в порт я ждал русский моряков, меня повезло, я встретил тебя...

— Как вы узнаете русских, по каким приметам?

— О, русский видно карошо, он ходит смело, весело, добрые глаза. Я карошо знаю русский, в тюрьме был с русских моряками, Пуэрто де Санта-Мария, централь тюрьма...

Последние слова заставили меня вздрогнуть. По всему телу словно прошел электрический ток. Неужели этот

человек был рядом в каменной крепости смерти и вместе с нами коротал черные дни и ночи между жизнью и небытием? Как хотелось мне расспросить его о многом, уточнить у него некоторые детали. Но я не имел права верить ему и раскрывать себя.

— Много там было советских моряков? — бросил я проверочный камешек.

— Тридесять и четыре моряков, а два женщина — в женском тюрьме.

Все точно. Но верный ответ ничего еще не говорит. Он может быть хорошо информированным теми, кто приставил его ко мне.

— Долго русские находились в тюрьме?

— Их судили, расстрел, потом каторга, потом выпустили группами. Долго, долго...

Все так и было.

— Я ушел из тюрьма, а он еще... моряки еще в тюрьма оставался,— продолжал Пабло,— русский карошо, молодец! Но просит офицер, но плакать, давай, давай песни. «Ши-ро-ка стра-на моя род-ная»,— тихо пропел он.

И про песню знает. Если действительно он сидел в тюрьме, то это было в тридцать седьмом.

— Эй, Пабло! Что там распелся,— по-дружески крикнул ему бармен из-за стойки,— забирай закуску.

На столе появились креветки, сардины в масле, зеленые оливки, фаршированные анчоусом и красным перцем. Крошечными рюмками мы пили «мартель», потом через соломинку потягивали вермут со льдом. Элиодоро расспрашивал о Советском Союзе. Ему о многом ранее рассказывали сыновья, а теперь выдался случай убедиться в достоверности услышанного. Несколько раз он переспросил меня о национальностях Дагестана. Не верил он сыновьям и мне верит с трудом, что малочисленные национальности даргинцев, кумыков, лезгин или многие тысячи

лакцев, табасаранов, татов на родном языке издают газеты, журналы, художественную литературу, ведут передачи по радио и по телевидению. Элиодоро ничего не говорит о своей стране басков с миллионным населением, но мне понятно, что в этот миг творится в его душе. В октябре тридцать шестого Испанская республика предоставила баскам автономию, в тридцать седьмом Франко ее растоптал сапогом. Сегодня культура басков запрещена: ни одной газеты, ни одного журнала, ни одной афиши на родном языке. Разговорная речь басков дискриминируется. Печатное слово басков преследуется.

— Дети баски — но писать, но читать уметь не может,— вставляет Пабло и кивает головой в сторону Элиодоро,— он много знает, говорить нельзя, страшно — тридесять лет тюрьма...

Согревая в ладонях «мартель», Элиодоро поднялся из-за столика, включил телевизор. На экране появилась старуха Кармен — супруга Франко. Серебряными ножницами она разрезала ленту, открывая выставку «тридцатилетия национального движения» (30-летие франкизма в Испании). Ее сменил сам генералиссимус и каудильо Франсиско Паулино Харменохильдо Теодуло Франко Баагамонте.

Постарел, постарел диктатор. Когда-то холеное лицо стало одутловатым, обвисли щеки, поседели чаплинские усики, совсем облысела голова, и нет в глазах былого блеска. Под тенью ветвистого платана в парадном облачении восседает он в резном золоченом кресле, похожем на трон, и держит в руках кубок — награду лучшей футбольной команде страны 1969 года. У кресла, словно окаменевшие, стоят адъютанты-телохранители. Владыку Испании прикрывает от народа подковообразная трехслойная стена: вооруженные армейские офицеры, во втором слое — офицеры полиции и первым барьером перед толпой — гражданские гвардейцы. Все три подковы стоят

лицом к народу и спинами к генералиссимусу. Безопасность каудильо важнее уважительности.

По-старчески тяжело поднимается семидесятисемилетний диктатор. Бесцветным, уставшим голосом он поздравляет футбольную команду с успехом и передает кубок одному из офицеров. Тот передает его в следующую шеренгу полиции, и, наконец, кубок берет офицер гражданской гвардии и вручает капитану команды «Атлетик».

Гремит оркестр, рукоплещет толпа.

— Баски, испанцы, каталонцы любят футбол: рвут на себе рубашки, бьют морда, бросают берета, шапка, морожено, помидора, яйца, бутылка и все кричат: вива! Виска! Баска, Каталония, Русиа. Все кричат...

— Но что творится, когда в Бильбао играют женские футбольные команды! — съеживается и кривится Элиодоро, словно у него во рту долька лимона.— Да, воскрес девичий футбол. Неженственный вид у сеньорит в полосатых футболках и синих трусах, бегающих за мячом и падающих на поле. Смешное, жалкое и неприятное зрелище. Не женская это игра. Но стадион ломится от болельщиков, циников и пошляков.

Пришла пора благодарить хозяина за теплый прием и прощаться. Элиодоро крепко сжимает меня в своих объятиях, и снова глаза его становятся влажными.

— Если бы мог, я поцеловал бы всех людей России,— переводит его слова Пабло.— Они вырастили и выучили моих сыновей...

Пабло тоже прощается со своим другом и что-то говорит ему на языке басков. Как видно, он не намерен отпустить меня одного.

Элиодоро на память преподносит вымпел клуба «Атлетик»: вертикальные красные и белые полосы на треугольнике с гербовым щитом в центре — это легальные цвет

и знак униформы футболистов Басконии. Третий, зеленый цвет национального флага басков властями изъят и запрещен.

Элиодоро провожает нас до самого порога и молча смотрит вслед. В его глазах я вижу невысказанное:

«Приезжайте к нам в лучшее для Испании время, оно должно наступить...»

...Мы шли к вокзалу медленно и молча тем же «строем уступа», словно и знакомыми не были. Я обдумывал вопросы, которые следует задать Пабло. Ответы на них должны пролить свет истины: действительно ли сидел он в Санта-Марии или это блеф заученной информации.

— Как кормят в испанских тюрьмах? — спросил я, выбрав удобный момент.

— Лентеха (чечевица), гарбансо (горох), потата (картофель). Мало, мало, немного не здох, быть немного живой.

Все верно. Единственное — он упустил фасоль. «Мало» — по-испански — «плохо», но в данном контексте и по-русски и по-испански это слово соответствует своему значению.

— Тюремный режим строгий в Испании или не очень? — спросил я его позже.

— Тяжело, офицер бьет резиновой палка. Ногами бьет. Русский моряки офицер сильно били. О, сильно... Дон Хуан — сеньор-перо (сеньор-собака) старший надзиратель садисто — у-у-у,— он завертел головой и тяжело вздохнул.

Нет, вероятно, я снова ошибся в своих подозрениях. Люди все же лучше, чем я о них думаю. Он знает даже имена тюремщиков и их повадки. Сложный путь пришлось пройти испанскому Павлу от друга до противника и от недруга до приятеля.

ОТ ПЯТИ ДО КАЗНИ

Постоянно пустующие рестораны в Сантурсе покоятся в чопорности тихого полумрака. Очень дорого обходится их уютный покой. Зато бодеги и чуррарерии, пивнушки и винницы, таверны и кафе по-базарному шумят от полудня до поздней ночи. Здесь всегда тесно от посетителей и всегда душно от мангалов, сигаретного дыма и винных паров.

Пабло затянул меня в одну из харчевен, уверяя, что мы в Бильбао повидали только внешнюю сторону жизни, Басконию покорную. Теперь надо заглянуть в душу басков, послушать, чем наполнены их сердца.

В бодеге царят неимоверные галдеж и толкотня исключительно мужского сборища. Все пьют вино или пиво и закусывают оливками, земляным орехом, жареной соей и соленым миндалем, манчегским сыром или ломтиками колбасы, приправленной перцем. Пьют, жуют и разговаривают.

У рабочих людей Испании живет давняя традиция: возвращаясь домой после трудов праведных, компания в десять, пятнадцать, а то и двадцать человек направляется в таверну. Каждый приятель по очереди заказывает за свой счет по четверти стакана сухого вина и легкую закуску. Стоят, глотками отпивают вино и мирно беседуют. Потом по стольку же заказывают второй, третий, четвертый. Разговор убыстряется в темпе, повышается громкость голосов. Пятый уводит всю компанию в соседнюю бодегу и заказывает там вино другого сорта, не увеличивая дозу. Седьмой или восьмой коллега приглашает друзей в третий кабачок, и там все повторяется. Уже при пятом-шестом причастии темпераменты воспламеняются и каждый энергично размахивает руками, громко ораторствует, спорит, доказывает. Постепенно компании расползаются или, соединяясь с другими, разрастаются и за

два-три часа успевают поменять до десятка питейных мест, изрядно выпить, и все по одной четвертинке стакана и не больше.

Харчевня, где мы с Пабло бросили якорь, судя по шуму и гаму, была по счету для ее посетителей, наверное, седьмой или восьмой. Но все же при нашем появлении, вернее при появлении незнакомого человека, голосовые регистры сработали, гул стих. Это длилось одну-две минуты, пока Пабло не познакомил меня с Ягиндой — щуплым, быстрым, ниже среднего роста баском, с глазами-горнами, из которых, казалось, разлетаются искры. Здесь, видимо, собрались все свои единомыслящие люди, и разговор велся в открытую. Наш приход прервал оратора. Теперь он продолжил свою мысль, глядя в мою сторону.

— Вот вам одно из доказательств: в бурлящей стране басков присутствует Советская Россия! Виска, Юнион Советика! — воскликнул Ягинда.

— Виска! — единым вздохом ответил ему весь зал.

— С нами могущественная молодость мира и против нас бессилие старческой жестокости. Глухая стена изоляции от Советов прогнила. Помните? Первой к нам прорвалась информация о победе русских над фашизмом. Мир страдает склерозом. Он тогда ликовал по случаю разгрома материка фашизма, забыв, что остались его острова, его ядовитые семена. И Франко, и Салазар уцелели, чтобы дожить свой век и отправить в могилы еще тысячи и тысячи жизней. Потом к нам стали проникать книги Толстого, Пушкина, Достоевского, Чехова. Режим старел и не мог сопротивляться, как прежде. Позже появились Шолохов, Эренбург, Евтушенко, спортивные делегации и советские артисты. Теперь в наши порты заходят торговые корабли под фрахтом. У наших причалов присутствует красное знамя! Это — чудо! Нет! — прохрипел Ягинда.— Молодость мира нельзя остановить, как нельзя отменить старость и смерть. Скоро мы будем широко тор-

говать со страной Ленина, мы будем иметь работу. Никуда не деться нашему врагу-капиталу, без сырья, без сбыта ему нет житья. Ему нужна прибыль, нам — автономия, труд, свобода и ее знамя. Выпьем же за это, амигос!

От его страстной и гневной речи у меня шевелились волосы. Такие слова я слушал во времена Испанской республики. Но сегодня, когда свирепствуют полиция и трибуналы... Неимоверно.

Ягинда протянул мне четверть стакана красного вина, и все мы отхлебнули по глотку.

— Режим каудильо расползается, словно мокрая бумага,— процедил сквозь зубы Ягинда, сжимая кулаки и приближая свое возбужденное лицо к лицам окружающих,— сегодня Франко и его подручные — одна коалиция. Капитал — другая, церковь — третья, народ — четвертая. Каждая коалиция существует сама по себе, разобщение интересов полное. Каудильо и его свита не руководят страной, они только торгуют ее территорией, ее богатствами и зверским насилием сохраняют свою власть.

Лицо Ягинды страшное: набрякшие скулы ходят ходуном, на шее и на лбу вздулись вены, глаза выкатились из орбит и мечут молнии ненависти.

— За букет из красных гвоздик, белого тюльпана с зеленым листком — пять лет тюрьмы! За диск с песнями басков — десять! За то, что мы слушаем радио «Свободная страна басков»,— пятнадцать. Но мы его слушаем каждый день в девять тридцать, десять тридцать и двадцать три тридцать на волнах девятнадцать и двадцать три метра. За надпись на стене, за листовку — двадцать лет, за хранение национального флага, за значок «Свобода баскам» — двадцать пять! За сопротивление полиции, за самооборону, за смерть гвардейца — тридцать лет или казнь! Все наше существование лимитировано от пяти лет до казни. Но мы продолжаем жить, зная, что Франко не вечен...

Передвигаясь по всему залу, Ягинда задыхался. Его придушенный голос то звучал угрожающим шепотом, то переходил в гортанный клокот.

«Таверна — самое надежное место для работы подпольщиков»,— так я понял слова, сказанные мне Пабло. Здесь, мол, в сутолоке и разноголосом гуле безопасно решать любые задачи. Но мне показалось, что кабачки — столько же удобное, сколько и уязвимое место для нелегалов. В их среду легко и просто проникнуть агенту-лазутчику и не без успеха «ловить рыбку в мутной воде», пользуясь ушами, глазами и той же обстановкой сутолоки и словоохотливости.

«Раз, два, три — казачок!» — неожиданно ворвалась знакомая мелодия. Ее дружно поддержали мужские голоса. Подошел Ягинда. С улыбкой уставшего человека заговорил на родном ему языке:

— Это ваша «Катюша» в интерпретации какого-то белогвардейца,— перевел мне Пабло,— за русскую «Катюшу» пять лет тюрьмы, а «Катюшу» с припевом «Казачок» — пой, хоть тресни. Вот мы и воспользовались обработкой. Поем и говорим спасибо благодетелю.

Ягинда подошел ко мне вплотную и опустил в карман моего пиджака какую-то бумажку.

— Как здоровье нашей Пасионарии? — спросил он.— Она наша соседка, из Гальярты, отважная женщина. Хотя мы не все взгляды коммунистов разделяем, но должное им отдаем. Привет ей и наилучшие пожелания. Передайте, что скоро она сможет вернуться в Испанию, скоро...

В кармане я нащупал упругий листок величиной в игральную карту. «Визитка»,— мелькнула у меня мысль. Но почему так конспиративно он вручил ее? И я попытался вынуть листок, чтобы взглянуть на него. Ягинда перехватил мою руку и вернул ее снова в карман.

— Нельзя, десять лет! — Он выставил передо мною руки с растопыренными пальцами.— Десять!

После «Казачка» выпили еще по глотку терпкого вина, и в зале негромко запели «Ель арбол де Гуерника» (древо Герники) — национальный гимн басков. Пели все до единого, пели вдохновенно, с отрешенными лицами. В это время в харчевню вошел пожилой мужчина. Мне показалось, что он подмигнул Ягинде и, подняв правую руку в фашистском приветствии, прокричал:

— Вива Панья! Вива Франко!

Зал словно обезумел. Все в один голос громко завопили: «Вива Франко!», «Вива Франко!», «Вива Франко!».

За стеклянной дверью показались лакированные шляпы гражданских гвардейцев. Я невольно подумал о своем присутствии в таверне. Впрочем, никакого волнения не испытывал. Я тут случайный посетитель. И даже если найдется агент-информатор, в чем он может меня уличить и обвинить? Вот только «визитка» в кармане...

Вездесущие стражи режима потоптались около харчевни и, к всеобщему удовольствию, зашагали дальше по улице. Я искал глазами Ягинду, но его в зале уже не было, он исчез. Вероятно, его выпустили запасным ходом.

В таверне разговоры возобновились с новой силой, но теперь велись они группами. Я заметил, как мой сосед по кругу заказывал «коньяк для русского», вино и пиво для остальных. Настал, на мой взгляд, самый удобный момент распрощаться, чтобы не повторилось то, что было на пляже. Пожав руки доброму десятку новых знакомых, мы с Пабло вышли на улицу, и он посчитал благоразумным возвращаться в порт мне одному. Где-то на втором или на третьем квартале из-за угла вдруг вынырнула пара гражданских гвардейцев. Пабло шмыгнул назад в таверну, даже не попрощавшись.

«Да, Пабло прав,— думал я дорогой в порт,— за внешней стороной болезненного покоя укрывается непримиримая борьба людей, а накопив в избытке гнев, она выплескивает его на улицы городов, потрясая устои

франкистской диктатуры. Испания жива. После большой потери крови, после военно-полицейского наркоза она выздоравливает, приходит в себя и уже узнается ее свободолюбивый мятежный нрав».

Войдя в свою каюту, в ту же минуту я достал из кармана «визитную карточку» Ягинды. Это был календарь на 1969 год, отпечатанный в цвете на баскском языке, с напоминанием, что Баскония — родина басков. На квадратах месяцев, недель и дней со всеми баскскими праздниками, отмеченными зеленым, красным цветами, изображен герб Басконии. На оборотной стороне — серая карта страны басков с границами провинций. Под картой красный флаг, разделенный белым и зеленым крестами. «Десять лет!» — послышался мне голос Ягинды.

В том же кармане пиджака я обнаружил маленький значок, изготовленный в виде щита. На нем нанесены эмалью цвета флага страны басков. В белой средней полосе — золоченая надпись: «Свободу баскам!» Сколько же лет отпускает трибунал за такой значок?

Вечером, когда стало темнеть, матрос у трапа вызвал звонком вахтенного помощника. Кто-то пожаловал на судно. Наверное, клерк от сеньора Мануэля, чтобы, наконец, забрать передачу из Муророана. Но через три минуты на пороге моей каюты появился Пабло с желтым портфелем.

— Ягинда просил книжка Ленин, все, все о нации,— начал Пабло, открывая портфель,— очень, очень просил на испанский язык, на английский язык. Но такой язык? Давай русский.

Его приход и поручение, сопряженное с немалым риском, меня несколько озадачили. Книги советских изданий на иностранных языках лежат в шкафах и на столах в кают-компании, в канцелярии стивидоров, в столовой команды. И каждый докер или гость может почитать или взять с собой любую интересующую его книгу. И так в

каждой стране. В Испании посещение советских судов запрещено, но коль Пабло сумел пройти...

Словно прочитав мои мысли, он ответил на незаданный вопрос:

— Сегодня полицей — мой кароший друг, наш амиго.

Ясно. Моя тревога немного улеглась. Достав из портфеля какие-то бумаги, Пабло протянул их мне.

— Ягинда передал для рабочий класс Россия,— вместе с бумагами он положил на стол небольшой национальный флаг Басконии.

Я взглянул на печатный испанский текст — это была программа национального баскского профсоюза, существующего в подполье. Затем он выложил на стол довольно объемистую книгу в черном пластиковом переплете — «Древо Герники». В ней описаны сражения батальонов баскских националистов с фашистскими войсками генерала Мола, приспешника Франко. Книга издана в 1963 году баскским издательством «Гудари» в Париже. Щедро иллюстрирована фотографиями, запечатлевшими боевые будни басков и зверские преступления фашистов.

— Как удается вам издавать такие книги?

— Байона, Биариц, другие город Франция живут много баск, граница рядом, они делают книжка, передают нам тайно.

И еще один презент Ягинды вручил мне Пабло — пластинку с записью баскских национальных песен. На конверте диска — фотография: подавленный нелегкой судьбой баск, склонив голову в задумчивости, стоит перед могучим стволом дуба Герники — символом борьбы басков за свободу.

— Кто такой Ягинда? — спросил я гостя.

— О, это есть большой баск! — сказал он вполголоса,— один из командир, начальник «ЭТА». Голова Ягинда — Франко дает пятьдесят тысяч песет.

Я проводил Пабло в кают-компанию, и он выбрал нужные ему и Ягинде книги. Судовой завпрод принес пару баночек растворимого кофе, мясные и рыбные консервы. Поблагодарив, Пабло ушел с судна с набитым до предела портфелем.

Стоя у иллюминатора, я наблюдал за ушедшим гостем. Он преподнес полицейскому пачку советских сигарет, банку консервов и долго беседовал с ним у решетчатой калитки, все поглядывая на наше судно. А я подсчитывал в уме, сколько же лет тюрьмы в общей сложности уготовил себе Пабло, попади он в руки полиции? По шкале Ягинды, у меня получилось около сотни лет. Сколько отваги и мужества требует от сыновей Басконии их священная борьба!

Вооружившись словарем, я принялся за чтение программы национального профсоюза страны басков.

В условиях жестокой диктатуры Франко и репрессий полицейских властей не может не поразить смелость и размах деятельности этой подпольной, широко разветвленной организации...

...Из динамика лились мелодии баскских песен, записанных в Байоне на грампластинку, подаренную Ягиндой. И песни нелегальные, настрого запрещенные франкистской цензурой. Песни, наполненные безысходной грустью, как и вся жизнь этого угнетенного, но не ставшего на колени народа.

ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

Мое шестое свидание с Испанией близится к концу. В трюмах осталось груза немного — дня на два работы, и мы уйдем к родным берегам Черного моря. Скоро мы расстанемся с тобой, Баскония. Об этом знает Хосе и

торопится как можно больше показать примечательных мест и поприятнее преподнести сюрприз. Ни свет ни заря примчался он на своей машине, чтобы увезти меня в Гернику и дальше по побережью, может быть, к самой французской границе.

Все будет зависеть от нашего желания и, конечно, от поведения «международной пенсионерки» — так называет он свою машину, скомплектованную с немецко-французско-итальянско-испанских деталей и, по сути, не имеющую собственной фирменной марки, хотя кузов ее принадлежит «ситроену».

Охает и ахает Хосе, не представляя себе, как он останется без русских друзей и как будет коротать скучные, однообразные дни, похожие один на другой.

— Хорошо провел вчерашний день? — спрашивает Хосе.

— Ездил в Бильбао, бродил по городу.

— Познакомился с сеньоритами?

— Нет, не представилась такая возможность.

— Но с кем-нибудь встречался?

— Да, было: с продавцами магазинов, хозяином таверны и гражданскими гвардейцами.

— И они не задержали тебя? — смеется Хосе.

— Им невдомек, что я коммунист.

Мы выехали за город. Хосе прибавил газ и вслух стал планировать остановки в нашем маршруте.

Я внимательно его слушал, разглядывая ландшафт местности.

— Перекусим в Гернике и махнем дальше,— размышлял Хосе.— Обедать можно в Сан-Себастьяне, но там много туристов и курортников. Все страшно дорого. До Ируна далеко, похудеть можно, да и останавливаться там не стоит. Знаешь, таможенно-пограничная зона, и в городе агентов больше, чем кошек и собак. А вот между Сан-Себастьяном и Ируном есть Пасахес. Там военный

полигон, и мой хороший кореш служит офицером. Это интересно. Можно выпить, закусить и хорошо провести пару часов.

— Можно и пострелять? — осведомился я.

— А ты разве артиллерист?

— Нет, шампанист.

— Можно и пошампанить.

Полигон категорически меня не устраивал, и я решил для себя отказаться и от Ируна и тем более от Пасахеса. И вообще странно: там много людей и все дорого, там далеко и агенты, а полигон — лучшее место. К черту!

Мы проехали третье или четвертое селение, и у каждого из них прохаживаются по шоссе пары гражданских гвардейцев. К ним у меня до сих пор сохранилось какое-то особое чувство неприязни. Такие же верзилы в лакированных котелках расхаживали по крепостной стене тюрьмы Санта-Мария. Ночами они громко перекликались между собой, кричали какое-то зычное и тягучее слово, отгоняя сон от тюремной стражи и навевая мистическую жуть на заключенных.

— Почему гвардейцы ходят только парами? — спросил меня Хосе.

Я возразил:

— В Альгорте на пляже бродил одинокий...

Хосе повертел головой.

— Только парами. Второй плелся дорогой, ты просто не заметил его. Не любят испанцы гражданскую гвардию за жестокость, и есть приказ — только вдвоем, для безопасности.

В живописной долине среди темных кантабрийских гор раскинулся древний город басков — желтая Герника. В апреле 1937 года черные самолеты с немецкими крестами методично по квадратам сбрасывали свой смертоносный груз и до основания сожгли и разрушили памятник баскской культуры.

«Герника была идеальным полигоном для наших бомбардировщиков!» — цинично восклицал тогда рейхсмаршал авиации Герман Геринг.

Опыт живых полигонов вскоре понадобился. В июне сорок второго они стерли с лица земли шахтерский поселок Лидице в Чехословакии; в июне сорок четвертого — французский город Орадур; тысячи селений Белоруссии, Украины и России. Уже в мирные дни марта 1968 года американская военщина повторила «подвиг» гитлеровцев, сравняв с землей южновьетнамскую деревню — Сонгми.

На подступах к Гернике машину остановила пара гражданских гвардейцев. Хосе протянул им через дверцу свой документ, я — свой «вездеход». Хосе не привлек к себе никакого внимания, зато моя личность явно обеспокоила представителей безопасности. Не меньше это встревожило и меня.

Гвардейцы долго разглядывали мой пропуск, изучали физиономию и потребовали выйти из машины. Смерив меня с ног до головы, один из блюстителей порядка спросил, имею ли я оружие. Другой осматривал салон машины. Потом они куда-то звонили по телефону из своей стеклянной будки, ждали инструкций и указаний и, наконец, вернули нам документы, разрешив въехать в Гернику.

— Такая процедура перед каждым городом? — спросил я.

— Чрезвычайное положение — период облав.

— Хорошее время выбрали. Чего же об этом вы не сказали раньше?

Настроение мое испортилось, и я готов был возвращаться назад. Но перед нами испепеленная когда-то Герника — первый город, познавший на себе изуверство фашизма, щебень и гарь, заставившие тридцать два года назад в ужасе содрогнуться мир. Франко постарался тщательно

замести следы позора, камнем, цементом и краской прикрыть преступное варварство своих бывших опекунов и наставников. Но земля под новыми домами осталась прежней, пропитанной кровью безвинных жертв, земля, принявшая в себя две тысячи убитых детей, матерей, отцов. Сделав несколько кругов по городским улицам, я попросил Хосе возвращаться в Сантурсе.

Мой проводник посмотрел на меня недоуменно, и этот взгляд чуть не стоил нам «поцелуя» с буфером впереди идущей машины.

— Смотаемся в Пасахес и домой. Тут перекусим, там пообедаем. Нас ждут...

— Гражданские гвардейцы?

— Друг ждет, ну... и подруги. А ты испугался гвардейцев?

— По-моему, они — меня, им кажется, что я намерен совершить государственный переворот. Поехали домой!

Хосе повернулся ко мне вполоборота, не веря, что я серьезно настаиваю прервать нашу поездку.

— Да брось ты, старина. Ты что? И гвардейцы нас не поймут, подумают...

— Думать вообще полезно. В чем они могут нас заподозрить?

— Нет, просто... Советский офицер специально приехал поклониться...

— Да, поклонился памяти невинно павших и возвращаюсь.

— Но где-нибудь перекусить мы можем? Меня уже тянет в таверну.

— Не помрем, поехали!

Его упрямство меня начинало злить. В пику ему на правах гостя упорствовал и я.

Передернув плечами, Хосе развернул свою колымагу, и мы долго петляли по городу, пока выехали на дорогу, ведущую на Бильбао.

— Испортил все дело,— сокрушался Хосе,— друг обещал немного подновить бесплатно машину, новый карбюратор...

— Вы, наверное, рассчитывали нашу поездку дня на три?

— Завтра вернемся. И девочки в Пасахесе суперэкстра,— он посмотрел на меня выжидательно, авось скажу «поворачивай».

— Я не вольноопределяющийся турист, к вечеру надо быть на судне.

— Ничего страшного, вернемся ночью. В дороге машина подвела, не скажем, что девочки не отпустили.

В этот миг выражение моего лица, вероятно, было не очень дружелюбным. Я расстрелял глазами своего назойливого искусителя, а он, откинувшись на спинку сидения, вызывающе рассмеялся.

— А может, ты боишься женщин? Денег жалеешь? В Пасахесе дешевле, чем в Сантурсе. В конце концов я помогу...

Меня охватило желание влепить ему в ухо, но положения гостя обязывало... Чтобы не взорваться, я попытался отшучиваться, но юмор в таких случаях страдает плоскостопием.

— Дались же вам эти девки, Хосе,— проговорил я примирительно.— Ведь промысел такой запрещен.

— Об этом все давно забыли и все промышляют, даже высокопоставленные гранды.

— Им легче.

— А нам проще.

— Ну и бабник же вы, Хосе! Это ваше хобби или основное занятие?

— Хобби всех мужиков и занятие тоже.

— Вы знаете, что значит «пристал, как банный лист»?

— Лист от веника. Купался я в русской бане — хорошее дело.

— А что такое «аморалка»?

Хосе не мог вспомнить, а может, и не знал этого слова.

— Что-то замарать... Нет, мочалка...

— Почти верно. Замарать себя так, что и мочалкой не оттереть.

— Клянусь, девочки чистые, они следят за собой.

— Да не об этом я, хотя и чистота их подзаборная. Противны покупные, панельные страсти.

— Вот дает, можно подумать, что все у вас монахи. Я же знаю...

— Монахи. Другой инок и вам форы даст. И среди наших есть страждущие и жаждущие.

— Ого, еще сколько!

— Но их сдерживает знаете что?

— Запрет.

— Разум.

— Хе-хе, причем здесь голова? — хихикнул Хосе.

На том же посту нас остановили те же гражданские гвардейцы и, словно впервые увидели нас, потребовали документы, внимательно осмотрели салон, заставили открыть багажник. Затем снова звонили куда-то и докладывали, наверное, о нашем возвращении, лишь после этой процедуры один из них махнул нам рукой: «Проезжай».

— Вот видите, никого не останавливают, а к нам такое внимание,— бросил я Хосе не для того, чтобы убедить его в том, в чем он сам давно и отлично разбирался, а чтобы подчеркнуть: «И мы в курсе дела, не лыком шиты».

Хосе вдруг ни с того ни с сего громко расхохотался и хлопнул себя ладонью по лбу.

— Забыл, совсем забыл. Теперь я понимаю, чего так боишься нашей полиции. Ты же раньше сидел в испанской тюрьме.

Мне стало жарко и душно, будто меня затолкали в духовку. Откуда он мог узнать то, что я старался скрыть, находясь в Испании? У меня хватило сил изобразить удивление.

— Эврика! Откуда такие сведения?

— Матросики мне рассказали с вашего судна.

«Неужели выпытал? Ведь я просил об этом не распространяться. Врет Хосе. Парни не могли подвести. Нет. Это информация службы безопасности».

— Какая чепуха,— хмыкнул я себе под нос и попытался улыбнуться,— что бы мне делать там, в испанской тюрьме, за что?

— Говорили, добровольцев возил, оружие в те годы... Но ты не волнуйся, это когда было, давно забыли... Я никому не скажу, могила! — Он чиркнул ребром ладони по горлу.

— И рассказывать нечего, просто чья-то пустая выдумка, и только.

— Может быть, выдумка,— неискренне согласился он,— все может быть.

Мы замолчали. Напряженным и невыносимым было для меня это молчание. Надо, обязательно надо о чем-то говорить. Я чувствовал в этом крайнюю необходимость. А о чем? Мостика для продолжения разговора в ином плане я не находил, вернее, боялся неестественной тональности при переходе на другую тему. О, как хотелось в те минуты, чтобы машина неслась со скоростью самолета, чтобы скорее вернуться на свой суверенный островок, в свою каюту, к своим товарищам.

Из-за холма уже плыли дымные облака и кое-где выглядывали верхушки заводских труб.

— Завтра праздник,— вспомнил Хосе,— восемнадцатое июля — день национального восстания, тридцать три года назад, уже тридцать первый год владычествует Франко.

— День вступления в Мадрид, кажется, в марте?

— Празднуют и тот день, и этот. Празднует Франко, а людям... Давай завтра поедем в другую сторону, в Сантандер, это ближе.

— Там тоже девочки? — вырвалось у меня.

Хосе прыснул со смеху.

— Девочки есть везде, нет настоящих кабальеро.

...Хосе поставил у моста машину, а сам пошел провожать меня к судну. Издали, у Ла Вирген дель Кармен, я заметил уже примелькавшуюся мне группу мужчин и женщин, не один раз провожавших нас взглядом. Сегодня возле них вертелась девочка, лет десяти-двенадцати. Словно по команде, они все повернулись в нашу сторону.

Тут я вспомнил: наши ребята встречали испанцев-репатриантов, вернувшихся из Советского Союза.

— Это случайно не «русские испанцы»? — спросил я.

— Думаю, нет. Им здесь нечего делать.

— Леночка, осторожно, не свались,— донеслась к нам чистая и нарочито громкая русская речь.

Я взглянул на Хосе. На его лице отразилась растерянность.

— Да, кажется, это они,— пробормотал он, плохо скрывая недовольство встречей.

Мы подошли к ним, и мужчины протянули мне руки.

— Здравствуйте! Вы часто проходите мимо и всегда заняты сеньором Хосе.

— А вы знакомы с моим спутником?

— Давно знакомы...

— Да, знакомы. Я немного близорук, не узнал издали,— промычал он с неловкостью и заторопился к машине,— так завтра поедем?

— Давайте доживем до завтра.

— Хорошо. До свидания, завтра заеду,— и быстро удалился.

Мужчины познакомили меня со своими женами и с Леночкой из Днепропетровска.

— А Леночка как тут очутилась?

— Приехала с мамой в гости к тете Розетте в Барселону,— нараспев доложила девочка. (Как давно я не слышал русского детского щебета!) — Мама осталась там, а я приехала сюда, к тете Паулине.

— Мы раньше все жили в Днепропетровске,— разъяснила смуглая Розетта.

Мне было не до их объяснений, сердце мое ёкнуло, перехватило дыхание: у причала не было нашего судна. «Что могло случиться? Не могли же меня оставить. Но здесь законы жесткие...» Атаковали меня тревожные мысли.

Кто-то из мужчин говорил, но в этот миг мне казалось, что голос доносится откуда-то издалека, из-под воды, из тумана.

— Может, не наше дело,— колоколом гудел баритон,— но мы хотели предупредить вас — Хосе служит в полиции, с ним нужна осторожность...

«Ура! Я заметил судовой бот, наш судовой бот с красным флагом. Бот идет к пристани». На внешнем рейде стоял и наш турбоход — большой, прогонистый, красивый.

— Простите, пожалуйста, служит в полиции, говорите?

— Да, да, это всем известно, и сам он не особенно скрывает. Захотелось хорошо жить...

— Спасибо!

Мы условились встретиться завтра утром, если можно будет добраться в порт.

— На рейд вас упрятали по случаю праздника,— объяснил мне Базилио,— как бы советский флаг не помешал торжеству.

Мы наскоро попрощались, и я побежал встречать бот.

ДО СВИДАНИЯ, ИСПАНИЯ!

На судно я вернулся радостным и веселым. За полгода изрядно надоевшая каюта показалась мне как никогда уютной и просторной. Даже подача кондиционированного воздуха, раздражавшая своим шипением, сегодня напоминала мне тихий полушепот лесных ручейков, располагающих к мечтам и раздумьям. Казалось бы, ситуация, сложившаяся вокруг, выглядела не очень радужно и малоподходящей для блаженства, но я именно блаженствовал.

Одно сознание, что нахожусь на своей родной территории, пусть плавучей, но под нашим флагом, поднимало мой дух, и я был счастлив.

Когда мы расстались с Хосе и я попрощался с «русскими испанцами», меня ждала на причале еще одна неприятность: полиция лишила «примеро офицеро» привилегии неограниченного пребывания и передвижения на берегу. Я был свергнут и переведен на общий режим. Мое увольнение с судна отныне лимитировалось временем: от восхода до захода солнца.

Случилось это совсем не так, как свергают королей: полицейский у решетчатой калитки забрал мой «вездеход» и вручил мне другой, обычный пропуск серого цвета. Это ошарашило меня, а он и глазом не моргнул, даже не удостоил меня взглядом. Что это, обычная привычка или поведение, предусмотренное инструкцией?

В чем же провинился я перед властями? Завалившись на диван, я стал искать причину постигшей меня немилости: или они знали о моем прошлом и специально создали благоприятные условия для встреч и поездок, чтобы проследить мои действия на глазах у подставленного агента? Или просто, следя за мною, как и за всеми членами экипажа, неожиданно встретили мою фамилию в «черной книге» и спохватились?

Не возмутила ли их любознательность гостя, уж больно охочего к вояжам? Если дело в последнем, то кто доложил о поездке в Гернику — гвардейцы, Хосе или те и другой вместе? Неужели у них так слаженно и оперативно работает служба слежки? А может, это результат поездки в Бильбао? Посещение клуба «Атлетик» и таверны? Приход на судно Пабло? Какая во всем этом роль Хосе?

А может быть, все подстроено: и бармен, и Пабло, и даже Ягинда? Нет, все это было по-настоящему, жизненно. И не похоже на спектакль. Так не сыграть даже профессиональным, талантливым актерам. Да и декорации и весь многообразный антураж очень дорого обошелся бы постановщикам. А во имя чего? Нет и нет. Скорее всего они заранее подготовились к встрече, как только получили переданную по радио нашу судовую роль. Недаром требуют всесторонние подробные сведения о каждом члене экипажа. Расставленные ловушки не сработали, и полиция дала отбой. И еще: не успев сверить судовую роль с «черной книгой», побывавшие у нас в гостях полицмейстеры опрометчиво сделали красивый жест, когда же разобрались — отработали задний ход. Истинным остается одно: мне заменили пропуск, остальное — мои догадки, мои версии, а действительность — тайна за семью печатями.

А Хосе? Продавшийся хамелеон планомерно пытался увлечь меня к рискованным авантюрам и одновременно уводил от встреч с настоящими друзьями. Сколько упущено интересных бесед, искренних исповедей, сколько потеряно дорогого времени! Появится Хосе или он навсегда исчез? А если появится, как он поведет себя, что скажет, о чем будет расспрашивать? И как мне вести себя с ним? Сказать о внезапном прекращении действия «неограниченных увольнений» или молчать, ждать, что скажет он сам?..

Весь следующий день в Сантурсе играли оркестры, маршировали солдаты и гражданские гвардейцы, бродили подвыпившие ветераны-фалангисты. Команда нашего турбохода «Металлург Курако» облепила борт и, забрасывая в море самоловы, налаживала лов рыбы. Увольняться на берег никто не изъявил желания, и поэтому бот на воду не спускали. Пропала охота к берегу и у меня, хотя грызла совесть: «русские испанцы» будут напрасно ждать.

Капитан бродил по судну и чертыхался.

— Груза осталось на борту всего тысяча тонн, а они праздник придумали, сорок адовых чертей им в башку. Терять столько времени! Да еще на рейд вытолкали, анафемы. Видите ли, их беспокоит наш флаг, «ваше присутствие в порту нежелательно».

— Михаил Каллиникович! — окликнул я капитана.— А ящик с «бирой» забрали?

— Стоит на месте. Они своей тени боятся, придется самим вскрывать.

Рыба, как назло, клевала плохо. До обеда вытянули на палубу с десяток мокрели. После обеда повезло одному боцману. Подергав свой самолов, ему показалось, что снасть отяжелела.

— Что-то крепко взяло!

Священнодействуя, со всеми предосторожностями выбрал боцман снасть, а все вокруг с завистью следили за его леской.

— Ну хитер боцман! Смотрите, на какую глубину опускает,— и все рыболовы немедленно потравили снасти, опустив грузила поглубже.

Наконец, из воды показалась... черная бутылка. Рыбаки захохотали.

— Чего ржете? Улов что надо! — Бережно боцман вытянул на палубу фабрично закупоренную бутылку

«мартини». Кто-то по-морскому накинул на горлышко леску и затянул петлями выбленочный узел.

Стали гадать — кто расщедрился на такую шутку? Подозревали капитана, стармеха, доктора. Ясность внес вахтенный штурман: во время обеда, когда на палубе никого не было, к нашему борту подошел рыбачий баркас. Рыбаки показали вахтенному бутылку и привязали ее к первому попавшемуся самолову. Помахали беретами и ушли в море.

— Молодцы! Спасибо за гостинец!

На другой день нас поставили к причалу, но с выгрузкой не торопились. После праздничных возлияний начальство страдало головной болью, а грузчики пользовались случаем, не перетруждали себя.

...У патронессы Ла Вирген дель Кармен меня ждали друзья. Я извинился, что не смог встретиться. Но вчера они верно оценили обстановку и долго меня не ждали. Иссиодоро и его супруга Ассусена предложили поехать в Бильбао и совершить поход к «своему будущему», побродить по кладбищу. Там можно чувствовать себя свободнее, чем среди живых. Серый пропуск позволял такую вольность, как поездка в Бильбао, тем более на кладбище. Конечно, сам по себе завязался разговор о нем, о Хосе. Имени его старались не называть.

— Он продает и вас, и нас. Но нас с оглядкой,— говорил Иссиодоро,— не все продает, цедит, боится «ЭТА».

— Перехватывает советских моряков,— вставил Сантьяго,— пользуясь правом бывать на ваших судах.

Розетта добавила:

— Вас продавать проще. Вы не живете здесь. «Нынче здесь, завтра там».

Ее мысль подхватил Иссиодоро:

— И брехать можно все, что угодно, на этом он и зарабатывает, рисует полиции всякие страхи, а мы должны говорить ему «Здравствуй».

— Опасный человек,— заключила Ассусена, вспоминая, как прошлой весной в дни Семана Санта (святая неделя) Хосе пригласили на праздник. Мужчины подвыпили, уединились с ним в безлюдной роще и повели прямой разговор. Он признался, что работает в полиции, но клялся, что «своих не продает», наоборот, старается выручать. Ему пригрозили кулаками, и при встречах он шелковый. Но кто знает, что у него на уме. Полицейское дело — темное.

Полдня мы бродили тихими кладбищенскими аллеями, восхищались архитектурой памятников: миниатюрными дворцами, соборами, замками, воздвигнутыми над склепами.

Несметные богатства таит в своем великолепии город мертвых. Целые апартаменты под землей с мраморными столами и скамьями, иконостасами и люстрами, с освещением, водопроводом и цветами. Богато жили и в богатстве покоятся.

На окраинах города мертвых зелень деревьев не разбавлена белой готикой. Там склепы скромные, покрытые только плитами, или обыкновенные могилы с крестами, без надгробий и цветов. В нищете жили и в бедности покоятся. Рядом предприимчивая фирма заготавливает современные склепы, без гранитных лестниц и ажурных кружев мрамора, просто цементированная яма, железобетонный бункер с крышкой и на ней вертикальная надгробная плита для эпитафий.

Сколько миллиардов песет истрачено на роскошь мертвых! Достались бы эти суммы бедноте, меньше было бы «чаболас» — ветхих лачуг, без света, без очага, без воды. Меньше живых прозябало бы в нужде и горе. Меньше пользовались бы спросом авансом построенные современные склепы.

На кладбище говорить трудно, не просто найти тему, импонирующую настроению. Но всегда у могил возникает

одна мысль: о быстротечности времени. Об этом вполголоса перебрасывались фразами и мы.

— Интересная механика жизни: одно и то же колесо времени несет с собой молодость и силу, и оно же приводит к дряхлости, немощи и смерти,— философствовал Иссиодоро.

После долгой паузы эту же мысль развивал Базилио:

— Это не только относится к человеку, но и к обществу, к режимам, доктринам...

— Одних время старит с самой юности, другим сохраняет молодость даже в преклонном возрасте,— как медик, рассуждала со своей точки зрения Розетта.

Настороженно посмотрел в ее сторону супруг, ожидая, наверное, услышать критику в свой адрес. Но этого не случилось.

— Все зависит от идей и целей,— продолжала Розетта,— холестерин — бич современности, образуется он от ожирения. Франкизм ожирел от крови. Его сердечная недостаточность неизлечима, предсмертный час скоро.

— Да,— подтвердил Сантьяго,— грешно, конечно, желать кому-нибудь смерти, но вся Испания ждет смерти Франко.

— Ничуть не грешно,— в оправдание мужа подала свой голос Ассусена,— сколько смертей на его счету? Так пусть лучше он один...

— Да, да, вы заметили — Испания выжидает,— вел дальше Сантьяго,— Испания напряженно ждет чего-то большого и неизбежного.

— А нас каждый день ждет тюрьма, каждый шаг надо проверять, не ведет ли он тебя в полицию. Ну что за жизнь?! — возмущенно спросила Розетта и так громко, что супруг, приложив палец к губам, дернул ее за кофточку.

— Розетта, с ума сошла!

Она отмахнулась от него рукой, но тон снизила.

— В Днепропетровске я слушала Мадрид, когда мне вздумалось. В Барселоне «Гуардия Сивиль» требует подписку, что мы не будем слушать Москву. Кто-нибудь донесет — и пять лет!

— И все-таки Москву слушаем,— вклинился Базилио,— дрожим, а слушаем и ча...— Он осекся на полуслове.

Из входа в гробницу показалась седая голова благообразной старушки. Она откровенно прислушивалась к незнакомой речи. Мои спутники присмирели, затаили дыхание. Воистину кладбищенская тишина, казалось, овладела миром.

— Простите, на каком языке вы объяснялись? — прошепелявила старушка.

— На санскритском, сеньора,— нашелся Базилио.

— Очень мелодичный язык, благодарю вас.

Всем было предельно ясно, что случайная свидетельница разговора не знает русского языка, но все стремились поскорее покинуть кладбище и убыстряли шаг.

— Так мы дойдем до галопа,— первым опомнился Базилио.

Друзья невесело улыбнулись, убавили шаг и стали подтрунивать над собой.

— Дрессировка сказывается...

— Сами полезли в клетку, на прутья пенять нечего.

На вокзале мы обменялись адресами и телефонами в надежде на скорую встречу. Записан десяток имен, кому передать приветы в Союзе. Расставались, как родные, с поцелуями, объятиями и влажными глазами.

Электричка мчала меня в Сантурсе. Мелькали опоры, мосты, тоннели; сменялись краски и пейзажи. Так, мелькая, сменялись мысли, только одна из них вторгалась всю дорогу: «Удастся ли еще встретиться когда-нибудь с «русскими испанцами», с которыми только что расстался?»

...На судне не произошло ничего существенного, не считая того, что из трюмов вынули триста с лишним тонн стальных катушек. В капитанском салоне оставался невскрытым заколдованный ящик черт знает с чем. По-прежнему он лежал на столике, ставшем для него штатным, и дразнил любопытство, лихорадил воображение, довел до исступления капитана, и тот отважился: пырнул его шилом. Острие иголки провалилось в пустоту, ни во что не уперлось, оттуда ничего не посыпалось, ничем не запахло.

— Что-то, кажется, запищало,— в глазах Михаила Каллиниковича затаились жалость и испуг,— феноменальная картонка!

Хосе, как я и ожидал, не появлялся ни на судне, ни вблизи нашего причала. Видимо, решил исчезнуть по-английски, не попрощавшись. Значит, учуял свое разоблачение, признал свое двуличие.

Прошло еще два дня. Пролетели они спокойно, ничем особенным себя не отметив.

А когда из глубокого корабельного чрева поднимались на-гора последние рулоны стали и лоцман был уже на борту, а местные власти оформляли наш отход, ожидаемые события вдруг навалились скопом: явился Хосе с черным чемоданчиком и приехало начальство «Гуардии Сивиль» и полиции.

Очень хотелось мне послушать этого оборотня, но каким-то десятым чувством я уловил, что сейчас будет решена судьба ящика, а может, прояснится и причина замены пропуска. И я никак не мог уделить Хосе ни минуты внимания.

Не извинившись, я оставил его в столовой на попечении дневальной и повара.

— Очень занят, если можете — подождите,— сказал ему сухо.

— Хорошо, хорошо, я подожду,— в его голосе, кажется, не было заискивающей угодливости, звучащей обычно у провинившегося.

Инспектор и начальник были строги и решительны. Может, сам сеньор Мануэль поручил им вскрыть ящик и поэтому они проявили столько прыти: без колебаний, буквально коршунами налетели на коробку, но... еще раз встряхнули, осмотрели упаковку и бесцеремонно втолкнули ее в руки агента Адольфо.

— Открывай! — приказал инспектор и на всякий случай отошел подальше.

— Может, операцию провести лучше на палубе? — подмигнул мне Михаил Каллиникович, подавая нож агенту.

Начальство переглянулось. Тем временем, не раздумывая, Адольфо легко и отважно запустил нож под крышку. Полицмейстеры прищурили глаза. Раз, другой полоснул он по изгибу и сорвал верх. Ящик быстро и плотно был взят в окружение. На штурмующих равнодушно смотрели упаковочная бумага и вата. А они ждали неведомого чуда. Но вдруг под упаковкой перед моими глазами мелькнуло что-то лоснящееся шерстью. «Что-то живое,— молнией пронеслась мысль,— как же оно два месяца продержалось без воды, без пищи, без воздуха, не подавая голоса? «Что-то запищало»,— вспомнились слова Михаила Каллиниковича.— Наверное, заколол...» — И я вперил в капитана укоряющий взгляд.

Наконец, бумага и вата выброшены на стол, и Адольфо вытянул из коробки действительно чудо, искусное творение рук японского мастера — вырезанный из мягкого дерева бурый медвежонок с лососем в зубах. Резцом тончайше отделана каждая шерстинка, каждый бугорок мышцы, краски и лак создали впечатление живого, естественного.

Теперь все выяснилось: медведь по-английски «беэр», пиво — «биер». При японском произношении английских слов, да еще второпях сказанных, немудрено, что капитану послышалось «пиво», да и кто бы поверил, что в коробке медведь? Объяснять же «неживой, вырезанный из дерева» — долго.

— Ну что ж, за успешное проведение операции «Ящик»! — провозгласил тост Михаил Калликович.

Полицейские чины пожелали нам счастливого пути, приглашали приходить в Сантурсе и пили, смакуя, горячую горечь.

Они рассказали любопытную новость: 22 июля, в день нашего отхода, каудильо официально объявил в кортесах об избранном им преемнике. После смерти или когда «фюрер» не сможет осуществлять верховную власть, на престол вступит внук низложенного короля Альфонса XIII и сын основного претендента на испанский трон Хуана Бурбона — принц Хуан Карлос Бурбон.

Вручив картонку с медведем таможенному чиновнику, полицмейстеры попрощались.

Я проводил их к трапу, они пожимали мне руку, но ни словом, ни взглядом, ни одним намеком не дали понять, что же произошло за кулисами с моим пропуском. Ну и скатертью вам дорога.

В столовой ждет Хосе. Я не пригласил его в каюту, а с хода атаковал:

— Вы не боитесь высокого полицейского начальства?

Он немного замялся.

— Нет. Да и... зайдем к тебе в каюту.

— Не стоит... Там сейчас производят уборку. Можно и здесь...

Он скосил глаза в сторону повара. Парень смекнул, что смущает гостя, и нырнул на камбуз.

— Вот принес тут... кое-что... посидеть с отходом,— и принялся открывать свой чемоданчик.

Я остановил его, придержав руку.

— Не надо, нет уже времени.

Резкий жест и моя холодность немного обескуражили Хосе.

Он с неловкостью спросил:

— Наговорили обо мне целый вагон? Да? А я больше их знаю,— он прильнул к моему уху,— я связан с «ЭТА», а служу в полиции для дела. Так надо, понимаешь?

— Это ваше личное дело. Меня интересует, откуда вы взяли, что я когда-то сидел в испанской тюрьме?

Потрясая руками, он протянул их ко мне.

— Они все знают, даже знают, что ты книги пишешь. Не знают ничего, где мы бывали с тобой, о чем говорили... Ну, Герника... Гвардейцы сообщили обязательно... Остальное...

— Об остальном информировали вы?

— Да, о таком всяком, чепуховом, несерьезном. Что-то надо бросать им в пасть?

— А что можно сообщить обо мне серьезного? На полигон я не поехал, от девушек отказался. Что еще?

Он нервно засмеялся и развел руками.

— Нет. Это все от души, клянусь своими детками. Ты не подумай, что я специально. Нет. Мне хотелось, чтобы тебе было весело, хорошо. Извини, так получилось. Может, я что не так, ошибся.

Уже стучали ступеньки трапа, власти сходили на берег.

— Мне пора. Всего доброго,— пожелал я Хосе.

— До свидания, — его рука повисла в воздухе, — ты еще услышишь про меня... Хорошую правду услышишь...

Выбирали якорь. На баке щелкал звеньями якорный канат. На картах уже проложены курсы к берегам Родины. Мы покидаем Басконию. Шестое свидание с Испа-

нией, со страной моей молодости, продлилось две беспокойных недели. Много это или мало? Мало, конечно, мало после тридцати двух лет разлуки. Мало для того, чтобы глубже познать ее жизнь и чаяния, но достаточно, чтобы убедиться: она жива, выздоравливает, и ее пульс наполняется могучей силой.

До свидания, Испания! Я не знаю, увидимся мы с тобой или нет: скоро, нескоро или никогда, но я всю жизнь стремлюсь к тебе всем своим существом и не скажу «прощай» до самых последних своих дней.

СЕДЬМОЕ СВИДАНИЕ

Дни, проведенные в Басконии, не канули в Лету. Хоть и изредка, но почтальон приносил мне весточку из Испании. Писали новые друзья и знакомые, одни подписывались собственными именами, другие прятались за вымышленными, и, судя по почтовым штемпелям, письма отправлялись из самых неожиданных городов. Надо полагать, что их отправители были там проездом или гостили у родных. И хотя мне приходилось только догадываться, кто является их действительными авторами, но все равно я был рад посланию из Испании.

Я уже собирался в очередной рейс на теплоходе «Донецкий химик», как получил новогоднее поздравление и письмо от Розетты из Барселоны. Меня удивила открытка с изображением голубя мира, у которого каждое перышко было выписано зеленью в виде листочка оливы. Белый лист почтовой бумаги с новогодними поздравлениями на пяти языках, в том числе и на русском — «С Новым годом!» И больше всего удивило содержание самого письма: «...Когда мы встречаем в Испании советских людей, нам кажется, что мы на чужбине увидели своих соотечественников. Поэтому прошу вас не удивляться нашим желаниям говорить с вами и узнать как можно больше. Вот уже тринадцать лет, как мы вернулись на родину, но мы не забываем свою вторую родину, что нас воспитала, дала

нам образование и людей полезных из нас сделала. И верьте, что, находясь далеко от СССР, мы любим вас, понимаем и гордимся, что нас воспитали именно советские люди.

Все это я пишу вам, чтобы вы поняли наше поведение и наше желание и счастье говорить с вами. Если найдете время, то напишите нам письмо. Я с большой радостью буду отвечать. Огромный вам привет от семьи моей, мужа и детей. С крепким рукопожатием — ваши истинные друзья. Розетта».

И все это в конверте с маркой-портретом каудильо. Удивительные перемены. Настолько проржавели тиски, зажавшие наглухо демократию, или это отчаянная смелость Розетты?

И вот я снова спешу в Испанию. Прошло два года с тех пор, как случайно мне посчастливилось побывать на севере страны, теперь предстоит посетить ее восточные порты. Прежняя робость улетучилась. На этот раз я не думал, как встретят меня полицейские власти, хотя шли мы в страну гордых каталонцев, подмятых репрессивным режимом и таких же непокорных, как баски.

Ранним утром Барселона нас встретила легкой дымкой, гулом моторов рыбачьих баркасов и смесью запахов крепкого кофе и йода. На высокой черной колонне сколько лет стоит недвижимо Христофор Колумб и протянутой рукой указывает на восток. У подножия к причалу пришвартована его каравелла «Санта-Мария», готовая открывать миры. Но все земли уже давно открыты и почти все из них открыли для себя новые летоисчисления свободы и независимости. И никогда Колумбу не сойти со своей колонны, как не выйти в море и декоративной ладье. Они здесь стоят на вечном приколе и напоминают испанцам об удивительном парадоксе, как спустя более четырех сот лет Америка открыла Испанию. А сам Колумб указывает

рукой не в сторону Индии, а туда, где бродит Шестой американский флот — открыватель испанских баз.

— Как жизнь, как дела? — спрашивает капитан Виктор Сашин своего первого гостя.

Дон Матео, агент той же компании «Вапорес Суардиас», корчит страшную мину, что означает: «В Барселоне обстановка прескверная». Это видно и по количеству полицейских, и по усложненному пропускному режиму. Правда, здесь нет железных решетчатых загородок, зато полицейские на причале и полицейские на борту. Одни в касках, другие в фуражках. Посты действуют круглосуточно. «Мы вас охраняем, вы берете нас на полное довольствие»,— договаривается с капитаном офицер. Полицейские на судне завтракают, обедают, ужинают и ночуют в специально отведенной каюте. Одни выдают нам пропуска на борту, другие их проверяют на причале — это и есть «охрана нашей безопасности».

Как быть: звонить Базилио и Розетте или воздержаться? Этот вопрос я задавал себе, пока не увидел телефонный аппарат в офисе агенции. Набрав номер, я услышал в наушнике женский голос.

— Здравствуйте, сеньора Розетта,— сказал я в микрофон по-русски.

— Здравствуйте! Кто это?

Я представился.

— Ой, как хорошо, что позвонили...

Мы условились встретиться в 17 по местному, когда вернется с работы Базилио, у вокзала «Франция».

«В Испании не пекут так вкусно хлеб, как в Союзе»,— вспомнились мне слова Розетты, сказанные в Бильбао. Поэтому, собираясь вийти в город, я завернул в бумагу и втиснул в портфель кирпичик нашего судового хлеба, баночку черной икры и предусмотрительно прихватил с собой не одну, а две бутылки шампанского. Забирая на выходе мой паспорт и вручая мне пропуск (на этот раз

без всяких привилегий), полицейский потребовал открыть портфель.

— Хочу посидеть где-нибудь на лоне природы,— объяснил я ему свой замысел.

— Выносить вино воспрещается, — сказал грозно страж. Хмуря брови, он вертел перед светом золотистое шампанское.

— Это вам, презент,— бросил я заранее заготовленную фразу, стукнув пальцем по бутылке.

Он благодарно взглянул на меня, ухмылочка расплылась по его лицу. Махнув рукой, закрыл портфель, проводил меня до площадки трапа и крикнул своему коллеге на причале. что портфель мой проверен.

К вокзалу я подошел минут на десять раньше условленного, но мои друзья уже поджидали меня у центрального входа. Я издали узнал их, они — меня. Расцеловавшись, мы несколько минут изучали друг друга, искали те отметины времени, которые из года в год меняют наши лица. Конечно, находили их, но говорили, как принято: «Вы не подвластны даже времени».

Не спеша шли мы по Коммерческой улице в сторону Триумфальной арки. И у них, и у меня накопилось много такого, о чем хотелось рассказать, расспросить, и порой наши вопросы буквально сталкивались. Мы извинялись и друг другу уступали право говорить первым, пока толчея в наших диалогах не улеглась.

— А мы прочитали вашу книгу! — торжественно доложила Розетта.

— Да,— вторил ей Базилио,— мы не знали, что...

— Какую книгу?

— Об Испании, «Санта-Мария»,— выкладывала Розетта.

— Оказывается, вы бывали в Испании и даже...

— Где вы достали ее?

Розетта гордо вскинула голову, сверкнула своими черными глазами.

— Мне подарили ваши моряки. Автор не счел нужным...

— Да, подарили ваши с теплохода «Донецкий металлург»...

— И вы рискнули? Там много против режима...

— А никто не знает. Мы почитали и спрятали.

— Вот поедем к нам домой, поужинаем,— уверенно планировал Базилио,— и вы оставите на книге свой автограф.

«Боже мой! Какие неосторожные люди,— подумал я,— четырнадцатый год живут в этом аду, а ведут себя, как дети».

— Благодарю вас, но я не смогу. Дела на судне,— отказался я от приглашения, чтобы не подвергать лишней опасности этих милых людей.

— А завтра? — спросила Розетта.

Базилио уточнил:

— Сколько вы простоите в Барселоне?

— Наверное, послезавтра уйдем.

— Значит, завтра к нам. И постарайтесь все дела сделать сегодня,— приказала Розетта.

— Да, да, давайте договоримся поточнее,— предложил ее супруг, но Розетта перебила его:

— Вы письмо мое получили?

— Получил. Большое спасибо. Но мне кажется, вы слишком смело признаетесь в любви к моей стране, а это...

— Ваша страна — и наша страна. Мы там выросли, выучились.

— Нам это всем приятно слышать, не думаю, что все разделяют наши чувства.

— Я не открытку писала, письмо, закрытое.

— Вы думаете, письма читают? — невинно спросил Базилио.

— Уверен. Тем более письма «русских испанцев» в Россию.

— Не думаю,— возразил Базилио,— столько пишут писем в Союз ь все перечитать? Сколько времени надо...

— Раз письмо дошло — значит, все хорошо.

Меня поражала их наивность. Но они живут здесь, и им дано знать больше.

— Сейчас в стране спокойнее? Меньше репрессий?

— Хуже стало,— Базилио снял очки и протер стекла платком, — намного хуже. Промышленные районы вокруг Барселоны — их называют «красное кольцо» — бунтуют.

— Цены неудержимые, забастовки каждый день...

— Извини, Розетта. В Каталонии нет «ЭТА», но каталонские националисты тоже крепкие, и они требуют автономии. Полиция обозлена до бешенства.

— Извини, Базилио,— опять вмешалась Розетта,— они не забыли, что баски и каталонцы дрались на стороне Республики и мстят им до сих пор.

— Да,— подтвердил Базилио,— помнят в государственном масштабе. В Наварре, например, репрессий меньше. Наварра с первых дней перешла на сторону Франко. А они все помнят столько лет.

— А к вам как относится полиция? — Мне хотелось сосредоточить их внимание на окружающей обстановке, которую, видимо, в силу привычки они недооценивали, натолкнуть на размышление о собственной безопасности.

— О, к нам внимание особое! — иронически подчеркнула Розетта.— И мы особые. Подрывные элементы в потенции.

— Но мы индифференте,— поспешил сообщить Базилио, словно он оправдывался перед следователем,— никаких акций против...

— О! — воскликнула Розетта, вспомнив о чем-то важном.— Дня три назад к нам приходил Хосе. Помните, из Бильбао? Он принес какой-то пакет, не очень большой пакет и просил передать его вам, когда вы появитесь в Барселоне. Но мы отказались.

— Очень правильно поступили.

— Он уговаривал, уговаривал, что это для вас, что вы просили. Что для него это очень важно, но, извините, мы наотрез сказали «нет».— Она рассказывала об этом так смачно, будто стремилась наглядно проиллюстрировать все сказанное своим супругом.

Базилио задумался и вдруг спросил озабоченно:

— Откуда он мог знать о вашем приходе? Странно, мы как-то не подумали об этом раньше...

«Хорошо, прекрасно,— говорил я мысленно сам себе,— задумывайтесь, задумывайтесь, это все впрок».

— Он мог знать по газетам — «приходит тогда-то такое-то судно»,— Розетте казалось, что она все точно и исчерпывающе объяснила.

— Да, но в газетах не печатают списки команды,— не унимался Базилио,— здесь что-то серьезнее...

Я хотел, чтобы Базилио сам ответил на свой вопрос, и спросил:

— А он по-прежнему работает в полиции?

— Давно выгнали,— уверенно отрезала Розетта и этим перечеркнула мое подсказывание,— вы же не знаете, что было. Когда вы уходили из Бильбао, мы все провожали вас, стояли на мосту. Вдруг подъезжает Хосе и начинает ругать наших друзей. Помните — Ассусену, Сантьяго, Иссиодоро? Так вот он их отчитывал: «Зачем наговорили человеку, чего толком не знаете? Мы с ним большие друзья, а вы хотите нас поссорить». Ну, а мы в один голос: «Да нет, ничего мы не говорили, о вас даже словом не обмолвились». А потом Ассусена рассказывала: на его заводе началась большая забастовка. Полиции

он вовремя не сообщил, и его гвардейцы сильно избили. Две недели лежал больным. И выгнали...

— А может, избили рабочие?

— Он говорил, что гвардейцы.

«О, неисправимо наивная доверчивость!»

— И что выгнали из полиции тоже он говорил?

— Не знаю. Ассусена знает. Она еще говорила, что у Хосе совсем другое имя, и он совсем не Хосе.

— А что сказал он, когда вы отказались принять от него пакет?

— Он очень просил, а потом сказал, что передаст вам другим человеком.

— Не говорил, как оказался он в Барселоне?

— Специально приехал, чтобы повидаться с вами. Но вы задерживались, а он не мог больше ждать.

Базилио отключился и не принимал участия в разговоре, думая о чем-то своем. Розетта коснулась больной темы о росте дороговизны и приводила мне весь прейскурант на промышленные и продовольственные товары, сравнивая цены прошлых лет с нынешними. Я вспомнил нашу прогулку по аллеям кладбища в Бильбао, и мне показалось, что тогда Розетта и Базилио были более настороженными и рассудительными. Может, потому, что находились в гостях, в чужом городе. А дома, как говорят, «и враги — свои люди».

Мы давно миновали Триумфальную арку, прошли к северному вокзалу и по проспекту Меридиана по моей просьбе повернули обратно в сторону порта.

— Как поживают ваши друзья в Днепропетровске? — спросил я Розетту, когда она исчерпала свою тему.

— Спасибо, отлично. Пишут нам письма, машину купили.— И спохватилась: — О, забыла! Только уехали они в Союз, вдруг являются два гвардейских жандарма: «Где ваши коммунисты?» — спрашивают. Я говорю им: «Они беспартийные. Они вчера уехали».— «Это мы знаем без

вас, сеньора. А почему вы не известили об этом комиссариат?» Я говорю, что не успели. И начали они: где были, что видели, куда ездили, о чем говорили. А для чего девочку возили в Бильбао — все знают до капли. Наверное, целый час допрашивали, а кончилось предупреждением и штрафом в триста песет.

— Да,— очнулся Базилио,— выслеживать они умеют. На два дня я уехал в Мадрид, всего на два дня, а они уже спрашивают Розетту: «Где это ваш супруг запропастился? Почему не появляется дома? Может, любовницу завел?»

Кажется, и Розетта, и Базилио постепенно возвращаются в свой реальный мир. И мой долг — все сделать, что в моих силах, только бы своим присутствием не подвергать их опасности, не усложнять и без того сложные условия жизни.

— Книжку мою,— начал я наступление,— надо сжечь. Она может навлечь беду, принести несчастье. А мне очень не хочется быть причиной неприятностей.

Супруги ополчились против меня.

— Вы перестраховщик,— дерзко бросила Розетта,— обыски проводят у людей нелояльных к власти, связанных или замешанных в делах подпольщиков. Вы просто не знаете обстановки.

— Поверьте, мы себе не враги,— поддержал ее Базилио,— книжку мы никому не показываем, а наши друзья давно ее прочитали...

— Вы уверены, что среди... нет Хосе,— кажется, я их обидел. Ну и пусть, извиняться не буду.

— Уже прочитали,— подчеркнуто повторил Базилио, мол, теперь все предосторожности ни к чему.

— Мы не маленькие дети,— храбрилась Розетта,— вы же не боитесь приезжать в Испанию?

— Впечатления, встречи — моя работа. Я в командировке...

Розетта открыла сумку, достала авторучку, блокнотик, вырвала листик.

— Мы ждем ваш автограф. Завтра в пять часов вечера мы будем ждать вас у кафедрального собора, у главного входа.

Я не стал отговаривать их от совершенно ненужной затеи, все равно все мои усилия оказались бы тщетными.

— Хорошо, завтра в семнадцать,— я взял из ее рук листки, а свой портфель передал Базилио.

— Зачем, что вы задумали? — Он испуганно отшатнулся и поставил портфель на траву.

— Здесь хлеб. Я помню, сеньора любит наш хлеб.

Розетта одним порывом обняла меня и поцеловала.

— Большое спасибо. Я так соскучилась по советскому хлебу! — И подхватила портфель.— Но он что-то очень тяжел.

— Там еще бутылка шампанского.

— Прекрасно. Вы золото, Хуан. Завтра же ее разопьем.

...К следующему дню у меня было достаточно времени, чтобы все продумать во всех деталях, все взвесить, сделать выводы. И я принял окончательное, не подлежащее пересмотру решение: в дом к супругам не ходить. К тому же агент фирмы на 19.00 пригласил капитана Сашина и меня в портовый ресторанчик на ужин, и я не имел права пренебречь деловой встречей. Для более фундаментальной аргументации своего отказа я придумал еще один неотразимый повод: не исключено, что судно снимется на Аликанте сегодня к полуночи. С таким настроением, до зубов вооруженный серьезными отговорками я направился на встречу со своими друзьями.

Шумел, как река, широченный главный проспект Рамбла. (Эта артерия Барселоны проложена по оврагу русла высохшей когда-то реки). Бесконечными рядами тянулись по центру проспекта остекленные киоски, за-

ставленные клетками с разноцветными пташками, павильоны с яркими цветами и обложками журналов. Все это оригинальное царство чтива, запаха цветов и птичьего щебетания, загороженного с двух сторон магазинами, кафе и тавернами, смешивалось с пестротой одежды, людским говором и шарканьем подошв, с ароматами вина и кофе, жареного мяса и парфюмерии.

К собору я подошел раньше времени и успел обойти его вокруг. Храм осаждали группы туристов. Охрипшие гиды рассказывали, как в тридцать шестом с колокольни собора монахи обстреливали республиканцев из пулеметов. Они преподносили антинародное выступление как патриотический подвиг. Вспомнилось мне, что в этих местах шли бои республиканских сил с троцкистами и анархистами, поднявшими мятеж против республики в мае тридцать седьмого. Где сейчас отсиживаются анархисты? Где они попрятались со своими бредовыми идеями? Почему сегодня не проявляют они своей «доблести» и даже не подают голоса?

Стрелки часов показывали ровно семнадцать. Мои друзья задерживались. Прошло еще десять минут — их не было. Я прождал их до восемнадцати — они не появились. Все время, как условились, я ожидал их у входа в собор и разминуться с ними не мог. Может быть, что-нибудь им помешало? В таком случае пришел бы кто-то из них и поставил бы меня в известность. Может, они ждут где-то в районе собора?

Я дошел до улицы Санта-Анны, снова вышел на Рамбла и очутился на площади Каталонии. Историческая площадь! Здесь Долорес Ибаррури — неистовая Пасионария — со слезами на глазах прощалась с батальонами интернациональных бригад, оставляющими окровавленную Испанию.

На обратном пути я еще раз обошел собор и ни с чем зашагал по Рамбла в порт. Впереди на проспекте что-то

происходило непонятное. Недавно спокойный проспект приобрел не свойственную ему динамику: люди спешили, оглядывались, укрывались в магазинах. Впереди мелькали какие-то тени. Они выбегали с улицы святого Павла, пересекали Рамбла и скрывались в переулках. За ними гнались гражданские гвардейцы. Их манты развевались черными крыльями. Жандармы ловко бросали лассо и ловили убегающих, как мустангов в прериях. «Рафиа! Рафиа!» (Облава! Облава!) — отовсюду слышалось это волчье слово. Тревога окружающих передалась и мне. Все увиденное я почему-то увязывал с судьбами Розетты и Базилио.

Сиротливой и зловещей показалась мне в этот вечер черная колонна, вознесшая Колумба. Внизу его окружали такие же черные ангелы, короли, королевы. Сейчас они коленопреклоненные перед Христофором, но никто из них в тяжкое для него время ничем не помог ему. И он, открывший им новые земли, принесший к их ногам столько богатства, умирал в одиночестве и нищете.

...Сидя в отдельном кабинете портового кабачка, мы пили сухое вино и закусывали свежими устрицами, съедобными улитками и розовой мякотью лангустов. Матео рассказывал о трудностях фирмы, связанных с общим бедственным положением страны, о спаде производства, о больших внешних долгах Испании, росте цен и безработицы. О том, что тридцать процентов детей не может посещать школы, что в четырнадцать лет они, неграмотные, идут работать, как чернорабочая сила.

Я слушал, смотрел на соблазнительный телефон и думал о них, моих друзьях. После долгих колебаний я все же позвонил им домой. Никто не ответил. Это еще больше меня обеспокоило. Через минут двадцать я снова попытал счастья. И — о везенье! — трубку сняла Розетта. Как-то сразу отлегло от сердца.

— Это вы? — без радости спросила она.— Извините нас... Мы не могли... Спасибо вам за хлеб... Я целовала его и плакала. Понимаете, Базилио вызвали... Прямо с работы вызвали, я не знаю, за что... И вот я жду, ничего не понимаю...

Я пытался ее успокаивать, не соображая, зачем это делаю, и, кажется, еще больше ее расстроил. Мы попрощались, пожелав друг другу счастья. Розетта пообещала написать письмо. «Мы еще обязательно встретимся»,— сказала она перед тем, как повесить трубку.

Когда я вернулся на судно, вахтенный штурман передал мне пакет и письмо.

— Откуда это, кто передал?

— Подъехал какой-то мужик на машине, в синем плаще, немолодой, поговорил с полицейскими, довольно весело, потом поднялся на борт, повертелся у трюмов, зашел ко мне в каюту и вручил вот это. Я думал, брать не брать...

— Не надо было брать.

Но дело сделано.

В письме я нашел записку. На русском языке кто-то обращался ко мне: «Уважаемый! Передаю бандероль от Хосе, а это от меня лично. Знайте, мы боремся за свободную Каталонию, за ее флаг. М.».

В конверт был вложен маленький квадратик шелка с желтыми и красными полосами. Таким был национальный флаг Каталонии во времена республики. Сейчас он настрого запрещен и только появляется нарисованным подпольщиками на стенах и заборах.

В пакете была завернута книжица небольшого формата — «Наша забастовка». На уголке газеты написано несколько слов: «Ты еще услышишь обо мне много. Хосе».

В прологе к нелегально изданной книге говорилось:

«Настоящая книга является коллективным трудом участников и руководителей забастовки на предприя-

тии по прокатке стальных полос («Ламинасьон де Бандас эп Фрио») города Эчеварри (провинция Бискайя). 30.11. 66 г.— 15. 05. 67 г.

В книге рассмотрены причины возникновения забастовки, ход борьбы и даны выводы и рекомендации для трудящихся Испании.

Эта история борьбы работников одного предприятия, которая велась в условиях фашистского режима Франко, поддерживаемого империализмом США. Борьба была нелегкая, многие ее участники были уволены, многие были высланы из Испании и многие были брошены в тюрьмы. Но авторы указывают, что это борьба политическая, которая преследует цель уничтожения режима Франко и построения справедливого общественного строя.

Хотя забастовка закончилась поражением трудящихся, все же руководители расценивают ее как победу. То, что бастующие продержались 163 дня, говорит о многом. В результате борьбы рабочие проверили свои силы и увидели своих врагов и сторонников, узнали гнусные методы подавления рабочего движения. В этой борьбе родились новые лидеры и наглядно проявились недостатки в организации рабочего движения.

Авторы указывают на необходимость существования рабочих профсоюзов вместо вертикальных, которые являются орудием в руках буржуазии.

Необходимо отметить тот факт, что рабочие вступают в разговор со студенчеством и интеллигенцией, показывая на примерах, что в настоящее время нейтральным быть нельзя, и призывая их объединиться для борьбы общими усилиями.

Руководители этой забастовки видят свою конечную цель в уничтожении мирового империализма.

В книге приведены документальные данные, объясняющие действия властей и бастующих, а также докумен-

ты, показывающие поддержку, которую получали бастующие.

Книга рассчитана на то, что рабочие и весь народ Испании изучат опыт этого предприятия и применят его в своих условиях в борьбе против режима Франко».

«Хосе старается»,— подумал я, но веры в него у меня не прибавилось.

Я изрядно устал и завалился спать. Завтра утром в путь.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БЕЛОКОСТЫХ

От подножья бурых холмов к самому морю желтыми ручейками улиц сбегает Аликанте. Над северной окраиной города взметнулась рыжая гора Святой Барбары, увенчанная полуразрушенными стенами старинного замка. Когда-то Санта-Барбара господствовала над городом. Теперь она его пленница, попавшая в окружение кварталов и дорог.

Торговый порт, рыбачья гавань, широкая набережная, обрамленная старыми финиковыми пальмами, и вровень с набережной причалы, служащие одновременно и городскими улицами. Все это так знакомо, словно я был здесь совсем недавно. А в действительности в последний раз мы покидали Аликанте тридцать пять лет назад. Вот здесь, у мола «Гран Балеарес», мы выгружали пушки и пулеметы, боезапасы и бензин в бочках для обороняющейся молодой Испанской республики. Вон там, впереди нашего «Комсомола», стоял пароход «Курск» с истребителями в огромных ящиках, а дальше — сухогруз под греческим флагом, доставивший бобы и кожи. Здесь, на причале, были выложены высокие штабеля строительного кирпича. Во время налета немецких «юнкерсов» как раз сюда

угодили бомбы. Вместе с осколками над бухтой свистел кирпичный дождь, залетавший даже на набережную. Перед глазами вырисовывается изрешеченная, покореженная труба «Грека» и палубы, заваленные кирпичной крошкой, присыпанные красной пудрой.

Аликанте был совершенно незащищенным городом, и авиация мятежников орудовала над ним безнаказанно. Уходя от ночных бомбардировок, мы до рассвета бродили в море, а если удавалось, пристраивались невдалеке от крейсера какой-нибудь иностранной державы и проводили ночь под защитой его зенитной артиллерии. Благо, что в военных кораблях недостатка не было. Целыми эскадрами выстраивались на рейде флаги разных стран.

Что же изменилось в Аликанте за половину человеческой жизни? Свечками вытянулись над старым городом несколько высотных зданий, разраслись в длину восточный и западный причалы, располнели и чуть прибавили в росте пальмы. Вот, пожалуй, и все, что можно заметить с судна.

По причалу бродит сухонький старичок, все приглядывается к нашему судну. Увидит матроса, провожает его взглядом, пока тот не скроется. Вахтенный у трапа отошел подальше от фальшборта, ему надоело быть объектом исследования странного человека в пенсне, в коричневом костюме и светлой старомодной шляпе. Странный и смешной старикан. Годы гнут его в дугу, а он, храбрясь, хочет быть стройным. Опираясь на узловатую палку из красного дерева после каждого шага, с видом самодовольного франта вскидывает ее перед собой и выпячивает грудь. В каждом его движении — желание казаться важной и респектабельной персоной. Старое — как малое.

Этот же самый старик выследил нас у выхода из порта. Он словно вынырнул из-под земли и, приподняв шляпу, по-военному отчеканил:

— Здравия желаю, соотечественники!

— Здравствуйте! — Мы немного замедлили шаг, и он пристроился рядом.

— Дворянин Белокостов, Петр Савельевич,— представился он, чуть склонив седую обнаженную голову, не протягивая руки,— если угодно — бывший камер-юнкер. В Испании меня окрестили «Педро Савелья».

Удивительный старик. Он перенес нас в самое начало века, и, хотя грешно смеяться над странностями старости, все же мы улыбнулись.

— Весьма приятно.

— С кем имею честь? — вглядывается в нас Петр Савельевич, близоруко щуря свои выцветшие, белесые глаза.

Без поклонов и без протягивания рук мы назвали свои имена и должности.

— Не дворяне,— добавил я.

Он криво улыбнулся и снисходительно заметил:

— Разумеется. Коммунисты?

— Не все.

Камер-юнкер на миг даже приостановился.

— Как вас уразуметь — «не все»? Не вступившего в партию большевиков за границу не выпустят.

Чудак человек. Кто-то наговорил ему глупостей, а он, как попугай, повторяет их.

— Заблуждаетесь, господин. У нас три четверти экипажа беспартийные.

Дворянин засопел, недоверчиво покосился, но спорить с нами не отважился.

— Давно живете в Испании? — спросил я.

— Пятьдесят второй год. Жил в Мадриде, Валенсии. Возраст... Он не приемлет суетности городов крупных, влечет, где потише.

— Когда же вы покинули Россию?

Он ответил не сразу. Пошевелил тонкими тряпочными губами, дряблая рука крепче сжала рукоять палки.

— Покинули? — вздохнул Белокостов.— В том же семнадцатом, под Новый год...

— И куда махнули?

Последнее слово будто укололо его, судорога пробежала по лбу, на носу подпрыгнуло пенсне.

— «Махнули», юноша, в Берлин. А спустя год и там... Советы народных уполномоченных. Никто не ведал, что они недолговечны. Перебрался в Австро-Венгрию. Не прошло и пяти месяцев — и там Советская Республика. Куда деваться? Англия — не по мне ее холодность нравов; Франция — вольнодумная; Америка — ожиревшая, расчетливая; Африка — черная. Не терплю негров. Страны Латинской Америки — убогие, рабские. Надоела эта шахматная игра конем, выбор пал на Испанию...

Он умолк. Трагикомедию незадачливого спринтера от революций, ее развязку пришлось дорисовать мне:

— Представляю ваше отчаяние, когда события грянули в Испании, образовалась республика.

— Катастрофа вселенной. Я все понял и обезумел. Уже подумывал о близкой Африке. Дьявол с ними, с черномазыми, рассчитывал, что у них катаклизмы наступят лет через сто, когда для меня станет все безразличным. Как жестоко я ошибся! И слава богу, не тронулся с места. Все обошлось...

Мне вспомнился Тимотака Казаки (Тимофей Казаков) из Ниигаты. Тот бежал на восток из Красноярска. И сегодня в Японии с юмором относится к своему галопу по Азии, жалеет, что израсходовал столько молодой энергии на бег в никуда. Педро Савелья до сих пор озлоблен и не может смириться с закономерностями преобразования мира.

— А зачем было бежать из России? — спросил моторист.

— Вам не понять. Забрали бы у вас дом, лишили бы всего нажитого... Смириться с насилием большевиков я

не мог, сражаться в одиночестве — значит, глупо погибнуть.

— А что, заводы забрали, земли?

Он досадливо махнул палкой.

— Ущемили честь столбового дворянина, растоптали достоинство — это главное. Давайте я провожу вас на площадь Испании, любопытное местечко!

— Чем примечательна эта площадь?

— Для вас это интересно. Поклониться должны,— в его глазах вспыхнуло что-то недоброе, ехидное,— после победы национального движения там сжигали коммунистов. Живьем сжигали...

— И там сохранились могилы? — по своей наивности спросил моторист.

— Ну что вы, юноша! Могилы испанских коммунистов и всех русских волонтеров сравняли с землей, застроили, чтобы следа не осталось. Каждый год в день 18 июля коммунистов предают здесь огню. По традиции... Не живых, конечно. Делают чучела, обливают бензином и торжественно сжигают.

— Это не ново. Средневековые спектакли когда-то устраивал и Муссолини,— заметил долго молчавший механик,— на площадь мы не пойдем, далеко.

— Во время гражданской войны в Испании вы оставались?..

— Да, жил в Мадриде, у республиканцев, а ныне проживаю в небольшом, уютном городке Виллене. Это несколько западнее Аликанте. Специально приехал поглазеть на русское судно. Может, в последний раз повидаться з земляками.

— Все-таки тянет?

— Конечно, я исконно русский человек.

— Живете с семьей?

— Один я. Холост! — озорно, по-гусарски хлопнул он палкой по штанине и улыбнулся краешками пересохших

губ. — Всех моих близких господь забрал в райские дали, меня оставил созерцать. Последнего из Белокостовых.

Он весь просвечивался на солнце, как хорошо высушенная тарань умеренного посола. И мне подумалось, что русский дворянин становится редчайшим экспонатом племени белой кости, и Белокостов своевременно решил повидаться с земляками.

— Бывали за эти годы на родине?

— Нет-с. Не доводилось. Петербуржец я, а там ничего моего не осталось.

Ядовитой озлобленностью была пропитана последняя фраза, и наш механик не промедлил подковырнуть камер-юнкера:

— Тем не менее вы Ленинграду не изменяете, поселились в Виллене.

— Как прикажете понимать вас, молодой человек?

— Виллен — это сокращенное имя Владимира Ильича Ленина.

Красные пятна вспыхнули на пергаменте его лица.

— Признаться, никогда не подозревал. Действительно, в этом скрыто нечто похожее на подвох, хотя не «Виллен», как вы произносите, а «Виллена».

— Произношение, однако, не меняет сути, согласитесь.

— Мда-с.

Только теперь я рассмотрел палку из красного дерева, на которую он опирался. Ее массивная рукоять заканчивалась коронованной головой императора российского Николая II. Что и говорить, опора для ископаемого дворянина ненадежная. А тут механик поддал жару, задел за больное. Чего доброго, упадет камер-юнкер, хлопот не оберешься.

— Ваше судно строилось в Германии? — спросил он, видимо, с целью уйти от разговора. Не по душе ему пришлась ленинская тема.

Но механик, нащупав слабинку, решил пощекотать его нервы.

— В Ленинграде, батенька мой, на Балтийском заводе. Вам бы стоило побывать в Ленинграде, не узнали бы его, честное слово.

— Боюсь инфаркта, любезный. Я знаю Питер великодержавный, а теперь он красносатиновый, фамильярный, неуважительный и дорогой. Деревянная ложка — три рубля и ту днем с огнем искать надо.

— Три не три, а пять рублей... дюжина,— подогревал его механик,— но ложки какие — писанки! Горчица в них за мед сойдет. Вот и разбирают туристы нарасхват.

— Извините, господин механик, ваша симпатичная рубашка какого производства? Русского?

— Нет, не русского.

Дворянин встрепенулся. Победно, выше обычного вскинул палку.

— Пожалуйста! — злорадно воскликнул он.— А кто изготовил ее для русских?

— Мейд ин... Узбекистан.

Он чуть не икнул от неожиданного поворота.

— Ах, молодой человек, вокруг пальца меня не обвести.

— Не верите? — механик рванул с плеча свой пиджак.

— Оставьте, Виктор Александрович,— остановил я его.

— Я бы доказал. Раздеваться на улице неприлично. Да где вы найдете сейчас чисто льняную?

— Извините, господа! Но вы... Вы парадоксальные уникумы. Вы нищие самой богатой страны, ибо все богатства российские пускаются на подкупы.

Кажется, мы изрядно раскочегарили дворянина, а он завелся, начинал рычать.

— Кого же мы подкупаем и зачем?

— Вы готовы завербовать в коммунисты самого сатану, лишь бы он служил мировой революции.

— Так. Сатана первый,— начал считать механик,— но он не в счет, как личность мифическая.

— Гарсиа Лорку разве не коммунисты купили и сделали его красным?

— И Мигеля Сервантеса, и Чарли Чаплина, Теодора Драйзера? Кого еще?

— Не стоит иронизировать. Вы молоды, ослеплены пропагандой, не за золото ли и не за меха привязали вы к своей колеснице испанскую герцогиню Медину Сидонию? И она стала красной герцогиней.

— Ну что герцогиня! Сайрус Итон стал красным миллионером, лауреатом Ленинской премии мира.

— Испанская твердыня — католическая церковь дает приют коммунистам? Не от российских ли алмазов она покраснела? Не русское ли золото сеет смуту в испанской армии? Нет, господа, ваш поэт Светлов не пророк, но спел о Гренаде и раскрыл ваш заговор: «Но песню иную *о дальней земле* возил мой приятель *с собою в седле*. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!» С каких это пор стала его Гренада? Где Россия, а где Испания! Заранее знал Светлов, что: «Хату покинут, пойдут воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Откуда такое предвестье? Кто за десять лет предсказал о революции в Испании? Спланировал Коминтерн? И хату покинули, и пришли, и умирали, и землю раздавали, и ничего не вышло. А у самих даже туалетной бумаги нет...

Наконец он высказался и раскрылся до переполненного желчного пузыря. Кажется, ему стало легче. Возражать, спорить, доказывать было бы лишним, бесполезным и рискованным занятием. Нам надо было отвязаться от выживающего из ума дворянина, собравшегося унести с собой на тот свет всю свою ненависть к революции,

весь свой бред, рожденный страхом перед завтрашним днем. Но избавиться от старого мухомора оказалось не так просто, он уцепился за рукав моториста и устрашал:

— В Испании, голубчики, вам не удастся взрастить семя коммунизма.— Он размахивал палкой, и голос его звучал истерически громко, срывался на визг. Прохожие стали обращать на нас внимание,— в Испании каудильо волею божьей! В Испании тысячи штурмовой полиции! Тысячи тайных агентов! Тысячи рыцарей «Гуардия Сивиль»! Она создана самим герцогом Аумада еще в 1844 году! Она может укоротить язык вместе с головой...

— Вольготно живете,— шепнул я ему,— но зачем раскрывать государственные тайны?

Он очнулся, посмотрел на меня обалдевшими глазами, словно со сна.

— А туалетной бумаги у нас не хватает. После запуска первого спутника вам отправляем... чтобы нос утирать было чем.— Не дав ему опомниться, широким шагом мы повернули обратно к порту.

Ночью мы снимались на Картахену.

ГДЕ ВЫ, ДРУЗЬЯ И ТОВАРИЩИ?

— Здорово, дружище Эскамбреро! Ты такой же глазастый морской зазывала и стоишь на том же месте и так же лукаво, по-молодому подмигиваешь морякам, приглашая их в Картахену. Ты совсем не изменился: не пополнел, не похудел и не стал ниже ростом. А ведь тридцать пять годков пронеслось со дня нашего знакомства. Все годы бессменно, ночью и днем, в туман и бурю ты светишь своим ярким глазом, несешь великую службу добра. Ты нужен людям. По-прежнему тебя обступают желтые

горы в зеленых тюбетейках, за ними — яркая синь лагуны, зажатая в серый бетон. Тот же массивный мол Курро, прикрывший бухту многопушечных кораблей.

Но что это? Стальная громадина в плешивых пятнах и струпьях безжизненно прилипла к молу. Грузные и ржавые башни в разные стороны развернули спаренные орудия. На палубе хаос: железный хлам, побитый коррозией, бревна и цепи, бочки и якоря. Пустые клюзы, как пустые глазницы, слепо уставились на белый свет. Я вглядываюсь в это чудище и пячусь назад. Сгинь, привидение! Тот самый крейсер! Или это мираж, галлюцинация, рефракция? Нет. Он — «Канариас»! Я вижу ясно на борту его проклятое имя.

— Ну что, вражище, состарился? В капитальный ремонт попросился? На модернизацию потянуло? Рановато. И не стыдно тебе, стальному? А я, видишь, и не железный, а плаваю по морям, по океанам и без ремонта обхожусь, хотя намного старше тебя. Что же так скрутило бронированное твое существо? Какой диагноз? Понимаю: сердечная недостаточность, склероз, отложение солей, тромбофлебит и болезнь Паркинсона. Ничего себе ассортимент! Говоришь, «нервы сдают»? Брось сантименты! У тебя их никогда не было, ты чудовище без нервов, без чувств. Ты задыхаешься? Стал плохо видеть и слышать? Теряешь координацию и плохо передвигаешься? А я ничего, держусь. Но тебе всего тридцать пять лет от роду. Ай-яй-яй, это от пересыщения кровью. «От холестерина на почве ожирения», как говорила Розетта. Ведь ты, каналья, с пеленок занимался разбоем. И сколько на твоем счету, на твоей заскорузлой совести погубленных жизней и разбитых судеб, сколько сирот и вдов, калек и нищих, крови и слез!

Родился ты в августе тридцать шестого на стапелях в Эль Фероле. Там же, на сорок четыре года раньше тебя, на свет появился твой крестный отец — Франсиско

Франко. Когда ты плюхнулся в соленую купель, твой генерал уже вел братоубийственную войну против своего народа. И крестины твои окроплены горячей кровью.

Ты помнишь, вражище, декабрь тридцать шестого? Тогда тебе исполнилось всего лишь четыре месяца, а мне было двадцать два года. И ты на большой дороге подстерег мой корабль — мой дом под золотым серпом и молотом. Мы только пересекли меридиан Гринвича, и ты расстрелял нас в упор. Нас, мирных мореходов, истинных друзей и братьев твоего многострадального народа. Оружием заставил высадиться к тебе на борт и силой загнал в глубокие казематы. Восемь суток ты носил нас в своем урчащем, зловонном чреве, метался по Средиземному морю, искал свою очередную жертву и палил из орудий. Восемь суток твои повелители водили меня и моих товарищей на допросы к немцам и итальянцам.

Знаешь ли ты, бесчувственный раб, почему так рано тебя одолела старость? Потому что был ты и есть сателлитом, марионеткой. Кто тобой ни командовал — и гитлеровцы, и муссолинисты, и франкисты — душители твоего же народа. А я всю жизнь верой и правдой служил идее, ведущей землян к радости труда и мира. Я без приказа, добровольно отдавал всего себя только воле моей единственной партии ленинцев.

Поздней ночью ты вернулся тогда в свое логово в Кадисе и салютовал орудийными залпами, возвещая о «выигранном сражении». Над кем ты одержал победу? Над безоружным торговым судном. Но ты не одержал ее надо мною, над моими товарищами. Ты сжег огнем мой дом и воспламенил в моем сердце гнев и ненависть. Они помогли нам выстоять. Ты «доблестно» выполнил свою черную миссию, передав нас живыми в руки «гражданской гвардии», в мрачное царство кандалов и решеток, произвола и смерти. Но, как видишь, я выжил и не требую модернизации.

Когда я топил в параше несметные стаи тюремных клопов, ты рыскал на морских дорогах и топил невинных людей, сжигал их, разрывал в клочья. За что погубил ты эсминец «Фернандес»? За то, что защищал он святую правду? Отстаивал свободу своего народа? Какой же ты изверг, «Канариас»!

А помнишь март тридцать восьмого? Темную ночь с пятого на шестое? Молчишь? Ты вышел в ту ночь на дорогу не сам, вышел со стаей себе подобных. Было вас девять разбойников. И шастали вы у мыса Палос. Это немного севернее Картахены. Поджидали одинокого, запоздалого, беззащитного путника. Атаманом вашей своры был «Балеарес» — твой младший брат, единокровный, он появился на свет божий всего на пять месяцев позже тебя. Вы поразительно были похожи один на другого и ста́тью, и нравом, и манерой в разбое. И вдруг вместо запоздалого одиночки — эскадра республики! Всполохи, всполохи молнией осветили море и небо, грохот расколол ночь. Три торпеды накрыли братца. Он вспыхнул факелом, хлебал воду и беспомощно ложился на бок. Экипаж и морская пехота, испанцы и немцы, сам адмирал и его флаг. Их свыше тысячи — в огне и в воде! Пожар никто не тушил, никто не закрывал пробоину, не брался за пластырь. Пояса и нагрудники, бочки и доски, любая щепка ценились выше всего на свете. От полыхающего пламени в черную-черную воду орехами сыпались и рядовые, и высокие чины, и сам адмирал. Море бурлило и пенилось, взбитое руками и ногами. Клокотало от захлебнувшихся глоток. Море светилось от лихорадочного блеска глаз, ищущих спасение. Море ревело от безумия гибнущих. Они звали на помощь тебя, хватались друг за друга и уходили в черную холодную муть.

И тогда ты, «гроза морей», при четырех парах восьмидюймовых орудий повел вперед семерку уцелевших. Вперед, но не в бой, не к гибнущему брату, ты ринулся

стремглав в ночь подальше от опасности. Ты, трус от рождения, презрев позор, бежал с поля боя. Ты бросил в беде родного брата, меньшего близнеца, а он так молил о спасении. Ты выжал все из турбин, все свои тридцать три узла. И за тобой трудно было угнаться. Какой же ты негодяй! Не «Канариас» ты, а «Канальяс»!

Только двести из тысячи подобрали из воды англичане, а ты все бежал и бежал подальше от возмездия.

Ты занялся косметикой? Прибегаешь к пластическим операциям? К чему все это? Как не изменишь ты свою внешность — все равно «подлеца видно с лица». Ты поставил две удлиненных, модных трубы вместо прежних коротких и толстых. Тебе показалось, что тридцать три узла маловато для марафона. Длинные трубы создают лучшую тягу. Вместо бронированного мостика ты воздвиг новую боевую рубку, она выше твоих труб. Конечно, с такой высоты шире обзор и дальше видно, что тебя ждет. Но я подскажу тебе это, не поднимаясь над палубой и не претендуя на звание провидца: порежут тебя на куски, расплавят в печах и сталь твою ребрами вставят в бетон. Десяток высотных домов дадут приют бездомным. Ты их топил и устрашал своим грозным видом и ты их будешь отогревать и укрывать от непогоды — их, истинных твоих хозяев, кого ты всю свою жизнь предавал.

Теперь мне понятно, почему в разные стороны ты развернул свои восьмидюймовки. Ты намерен отбиваться от времени? Ты всегда был тупым и ограниченным. Таким же ты остался и после капремонта. Пойми: напрасны новшества, бесполезна модернизация, ни к чему пусковые устройства ракет. Против времени нет оружия! А наше время любит мир! Взгляни, уже на твоих орудиях главного калибра отдыхают чайки...

Военные корабли — молчаливые и безлюдные, как серые истуканы, отчужденно уставились на нас со всех

сторон. Они поражены событием: в их запретный дом заходит сугубо гражданская персона, да еще под красным флагом. Такое бывает не каждый день. От удивления даже замерли и безжизненно повисли гирлянды флагов расцвечивания по случаю праздника святой недели. У Коммерческой пристани, рядом с отведенным местом нашей стоянки, потеснились старые двухтрубные эсминцы. Кормой ошвартованы, они форштевнями устремлены в море. Когда-то эти боевые корабли верно служили своей республике, охотились за крейсером «Канариас». Теперь они трепещут перед его превосходительством и стоят перед ним по струнке. В отместку эсминцы лишены своих законных имен, как арестанты, носят на боках одни номера. Я помню, на их палубах играли оркестры и тысячи матросов кричали нашему «Комсомолу»: «Вива Руссия!», салютовали ружейными залпами. Сегодня веет от них враждебным равнодушием.

Вон там, на причале Арсенала, встречал нас советский военно-морской атташе Николай Герасимович Кузнецов. Нам, молодым хлопцам, он рассказывал о вероломстве фашизма, о саботаже пятой колонны и коварстве агентов Франко, о доброте и доверчивости простого рабочего люда, о сердечных чувствах к нашей стране.

Причал Арсенала — испанская земля, на которую с борта «Комсомола» ступили первые наши танкисты-добровольцы под началом Семена Моисеевича Кривошеина. Тяжеловесной стрелой мы выгружали на причалы Т-26, и скромный капитан Поль Арман, ставший легендарным полковником, руководил выгрузкой. С этого причала он увел первые пятнадцать боевых машин и с ходу ринулся в бой у южных стен Мадрида. Тогда Картахена ликовала и люди целовали холодную броню танков, забрасывали их цветами. Теперь улицы города чужие и холодные. Они как будто усохли от времени и стали совсем узкими и пустынными.

Вот здесь в октябре тридцать шестого стоял линкор «Хаиме I». Его взорвала рука предателя. Там стоял эсминец «Диас», и к нам часто захаживал его артиллерийский офицер Антонио со своей невестой сестрой милосердия Луизой. А в этом доме, заглядывающем своими окнами прямо на торговую набережную Альфонсо Досе, на третьем этаже жил шофер военмора Кузнецова — веселый Рикардо. Он возил нас по городу и в соседние апельсиновые сады.

В те далекие дни тихие воды голубой бухты Картахены перечеркивали кильватерными линиями командирские катера с «нейтральных» крейсеров Германии и Италии. Сегодня воды голубой бухты пенит белая морская яхта «Рампасер». Она принадлежит американскому адмиралу. Вместе с «Рампасер» прилетел и завис над бухтой вертолет, похожий на огромную медузу. Это летающий стекловидный колпак, под которым укрывается пилот. Салон и хвостовую часть заменяет открытая рама из алюминиевых труб. Задирая раму кверху, «летающая медуза» спускается к самой воде, исследуя каждый метр дна: нет ли там аквалангиста-диверсанта, не оставлена ли где-нибудь магнитная мина. Вертолет летает каждый час и повторяет одну и ту же операцию над одними и теми же квадратами. Где-то близко бродит Шестой американский флот, и отряд кораблей должен зайти в Картахену пополнить запасы воды и топлива. Бдительность! Ведь в Картахене находится советское судно.

Перед выходом из порта в город стоит окруженный зеленым сквером белый памятник погибшим морякам-испанцам в боях с американскими завоевателями в 1898 году. Еще в те годы кубинский народ выставлял за дверь испанских колонизаторов. Дядя Сэм внимательно следил за событиями, чтобы влезть в окно новоявленными хозяевами испанской колонии. «Куба упадет в наши руки,

как спелое яблоко»,— высказался государственный секретарь Соединенных Штатов того времени Блейн.

В Гавану явился американский крейсер «Мэн». Непрошеный гость долго не покидал кубинскую столицу, выводя из терпения испанцев. Только 15 февраля в 21 час крейсер вышел на внешний рейд, оставив в Гаване почти всех своих офицеров. Спустя 45 минут после выхода «Мэн» взорвался и пошел ко дну, унося с собой 264 матроса и двух офицеров. В тот же день американская пресса завопила о диверсии испанских властей, требуя объявить войну Испании. Как истые «миротворцы», янки не сразу ринулись в бой, они создавали комиссии, публиковали снимки солнечного затмения, выдавая их за пробоину в борту крейсера, якобы сделанную торпедой. Херстовский корреспондент в Гаване Ремингтон открытым текстом телеграфировал своему боссу: «Хотел бы вернуться, потому что войны не будет». Газетный король ответил ему шифровкой: «Оставайтесь на месте. Что касается войны, я свое дело делаю». 22 июня 1898 года Америка начала военную кампанию за «освобождение» Кубы.

Сегодня памятник погибшим морякам стоит на своем месте, американские крейсеры становятся в Картахене на свои места, матросы из Техаса и Каролины у памятника распивают виски и охотятся на сеньорин. Теперь нет нужды лезть в окно, когда широко распахнуты двери.

Во второй половине дня Картахену оживила Семана Санта. Пасхальные дни святой недели всегда начинаются театрализованным религиозным шествием. Тротуары узких улиц заполняются жителями. Для престарелых расставлены стулья и скамьи. Стоимость сидячего места 20 песет.

...Издали доносится отрывистый гром барабанов, его можно принять за орудийный залп. Церемонию открывает покровительница Картахены святая Вирген де ла Коридад. Красивая, дородная кукла в человеческий рост,

одетая в длинное платье бордового бархата, в замысловатой сиятельной короне с каплями застывших слез на неподвижном лице из папье-маше проплывает в окружении духовенства. Шлейф платья патронессы бережно несут девочки. За ними идут строем мальчики в костюмах пажей. Дальше следует толпа живых манекенов в мантиях и коронах королей, королев и мавров. За ними движется армейская рота офицеров. Удар барабанов — ступает правая нога. Секунды тишины. И снова удар барабанов — ступает левая нога. Так синхронно в ритме барабанных залпов процессия продвигается не более километра в час. Шагают крестоносцы средних веков в латах со щитами, солдаты глубокой старины в униформе и с доспехами того времени, монахи периода инквизиции в кроваво-красных балахонах, спускающихся до земли. Головы и лица монахов закрыты высокими конусными колпаками с прорезями для глаз. Каски и киверы, хоругви и посохи, кресты и мечи, пики и алебарды, искусственные розы и естественные топоры, короны, венки и нимбы — все это плывет молча, нескончаемым потоком под отрывистый гром барабанов.

Я смотрел на это жуткое зрелище и думал: «В приступе дикой ярости эти мистики и сегодня способны живьем сжигать на кострах, распинать и четвертовать».

В конце процессии грузовые автомашины с ряжеными фигурами: согбенный Иисус Христос, несущий тяжелый крест, Иисус Христос, распятый на кресте, с развитыми мускулами гимнаста, в терновом венце и обрызганный кровью. Библейская ослица, Иосиф — отец Христа и матерь божья святая дева Мария, утопающая в живых цветах. В чертах молодой и красивой испанки с маникюром и откровенным декольте трудно узнать кроткую и смиренную деву Марию, которую изображают на иконах.

Дальше плывут архангелы с божественно красивыми лицами, бицепсами борцов и могучими крыльями за

спиной. Шествие замыкают высокое духовенство и их послушники.

Три часа главная улица Майор была заполнена как бы ожившими библейскими сказаниями. Святые и непорочные двигались мимо киосков с журналами «Плейбой» и «Плейледи», заполненных красочными фотографиями обнаженных распутниц, сексом и порнографией, двигались без протеста, не отвергая плотское, не осуждая безнравственность.

Пиратский «Канариас», серые порабощенные истуканы-эсминцы, надменная яхта «Рампасер», наглый летающий колпак и средневековый крестовый поход на улицах. Где же оркестры и «Бандьера Роса», «Марсельеза» и «Варшавянка»? Где же, где вы, друзья и товарищи, амигос и компаньерос!?

В парке Торрес у замка Консепсион нам встретился одноногий калека. Пользуясь наплывом людей на улицах по случаю фиесты, он продавал открытки с изображением святых. К ним присоединились и генералиссимус Франко, Хуан Карлос, высокое начальство Мурсии и Картахены: капитан-генерал морского департамента Гамбоа, генерал-губернатор Энрике Касадо, гражданский губернатор Мурсии Энрике Мольто. Мы отобрали по нескольку цветных фотографий с видами Картахены.

— Руссо? — узнал нас калека.— Я — Хорхе, комендор крейсера «Либертад». А вы из барко руссо? (из русского судна?).— Он задумчиво покачал головой и вслух называл нам имена, которые остались в его памяти: — Николас Кузнесов, Семенио Рамишвили — дон Хуан Гарсиа, Валентино Дрозда — дон Рамон, Анадолио Серов, барко «Комсомол».

И вдруг он захлопал в ладоши, припевая: «Эх, яблочко, кута котичся...» Потом пальцем ткнул в обрубок ноги, мол, жаль, станцевать не могу.

— Мадрид. Морская пехота. Легионеры Франко.

— Не помните ли вы Рикардо, шофера Кузнецова? — спросил я.

— О, да, я хорошо его помню. Рикардо расстрелян возле собора Санто Доминго.

— А Антонио Санчес из эсминца «Диас»?

— Он ушел с эскадрой в Бизерту, и я больше его не видел. Не знаю, что с ним.

Хорхе достал из кармана сигареты черного канарского табака и глубоко затянулся.

— Немного осталось республиканцев в Картахене,— проговорил он с досадой,— одни погибли в боях, другие — в тюрьмах. Многие уехали за океан. Но Франко уйдет в могилу, и тогда воскреснут республиканцы.

Потом он расспрашивал, как сложились судьбы его русских знакомых.

— Дон Николас Кузнесов — адмирал советского флота, главнокомандующий морскими силами? Правда?

Он наотрез отказался брать деньги за открытки. «Это мой вам подарок»,— твердил Хорхе, и нам стоило немалых усилий заставить его взять две сотни песет.

— Хорошо,— согласился наконец он, но с условием, что вечером мы встретимся с ним у монумента погибшим морякам,— у меня есть для вас памятный презент, мой презент, личный.

Когда мы возвращались на судно, нам навстречу бежала стайка оборванных девчонок. Они прижимали к груди буханку белого хлеба и жестяные банки консервов с русскими наклейками — «паштет» и «тушонка». За ними, ругаясь, бежал полицейский. В это же время на борту нашего судна его коллега отчитывал вахтенного помощника и внушал ему, что всякие угощения со стороны русских запрещены. Чтобы уладить конфликт, пришлось выдать и полицейским по банке сайры и бутылке «Столичной» на двоих.

Вечером мы встретились с Хорхе на условленном месте. Он передал мне крошечный целлофановый пакетик. В нем был завернут кусочек ленты трехцветного республиканского знамени. Три ярких полоски: красная, желтая и фиолетовая. Сколько лет он хранил этот опасный лоскутик, грозивший тюрьмой?! Значит, есть еще, есть друзья и товарищи, верные республике.

Мы вручили Хорхе баночку растворимого кофе и горсть советских значков. Он поблагодарил и крепко пожал нам руки.

— Салуд! Встретимся, когда Франко...— и быстро заковылял на костыле к площади каудильо.

«Салуд!» — живет, живет это приветственное слово революционной Испании, его не забыли, помнят.

Мы еще прошлись мимо дома, где жил Рикардо,— добрый, веселый малый. Все окна дома были распахнуты, но ни в одном из них я не увидел его простого, улыбчивого лица...

АНХЕЛА И ХУАН

Возвращаясь из-за океана, в жарком июне мы зашли в Валенсию, чтобы сдать канадский груз. И вспомнился мне магазин, где в 1936 году я покупал одеяло верблюжьей шерсти с красочными видами корриды. Красивое и теплое одеяло досталось Нептуну, оно ушло на дно вместе с нашим судном, если не сгорело в огне от снарядов «Канариаса».

Хозяином магазина в то время был рано овдовевший, жизнерадостный и певучий Рамон. В его владениях постоянно звучали испанские мелодии, а Рамон, отмеривая шевиот или выкладывая перед покупателем десятки галстуков, сам подпевал знаменитым певцам и певицам.

За прилавком ему помогала единственная дочь, смазливая девчушка лет шестнадцати с двумя родимыми точечками под правым глазом.

Рамон и Анхела часто бывали у нас на судне. Мы охотно посещали их магазины и нередко пересекали границу прилавка, оказываясь в их уютном доме. Там гостеприимно накрывался стол и к вину, спарже и вкусным рыбным блюдам кокетливо сверкала обворожительная улыбка смуглой Анхелы.

И вот я снова в гостях у моих старых знакомых. В располневшей даме не без труда узнал я Анхелу, и в этом мне помогли родимые крапинки, разросшиеся до небольших пятнышек. У Анхелы от радости дрожат руки и на глаза навертываются непрошеные слезы. Ее супруг Хуан растерянно смотрит на жену, на влажные глаза и ждет ее указаний. У них уже женатый сын Рамон, и они ждут внука. Рамон — отец — в сорок первом году умер в тюрьме, куда его упрятали фалангисты за симпатии к коммунистам. От прежнего магазина осталась одна каморка, заваленная залежалой галантереей. Большая часть магазина продана офицеру «Голубой дивизии», вернувшемуся без руки из России в сорок третьем. До сих пор Западная Германия выплачивает ему пенсионное пособие. Его торговый дом процветает. Еще я узнал, что за эти годы Анхела перенесла сложную операцию, но улучшения здоровья это не принесло. По сей час она страдает от болезни печени. Узнал, что лекарства здесь баснословно дороги, зачастую залежалые или поддельные, и от них никакого облегчения.

Как прежде, на столе белое вино, мелкая жареная рыбешка и апельсины. И за столом, пожалуй, тот же разговор о фашизме с той лишь разницей, что тридцать пять лет назад речь шла о его разгроме, сегодня — о его естественной смерти. До чего же живучий этот дегенеративный выкормыш старого маразматика-капитализма. И еще

одна деталь: в те годы мы не знали телевизоров. Сегодня на голубом экране — Мадрид, арена Виста Алегре, день большой корриды. Шумят пестрые трибуны. Вот-вот начнется торжественная церемония, и вся красочная куадрилья (свита) появится на арене. Пока что на экране — Франсиско Франко. При чем тут каудильо? Он машет Испании своей дряблой немощной рукой. Его приветствием открываются телевизионные программы и его прощанием они заканчиваются. Рядом с генералиссимусом — его супруга донна Кармен с дежурной улыбкой живого скелета. Ее называют «ла генералиссима». Здесь же в золоченой королевской ложе — их единственная дочь и зять Франко — маркиз де Вильяверде, его прозвали «ель зятисимо». С ними четверо внуков — «ниетисимо» (внукисимо).

Совсем плох облысевший каудильо. Худое, морщинистое лицо вытянулось, складки щек и с ними нижняя челюсть обвисают, рот приоткрыт, взгляд угасающий. Чтобы омрачить надежды ожидающих смерти Франко и убедить испанцев, что у «отца нации» еще достаточно сил и энергии, телевидение Мадрида стало часто вторгаться в личную жизнь диктатора. Операторы со всех ракурсов показывают Франко — рыболова, жокея, кинооператора, картежника, рулевого за штурвалом катера, охотника верхом на коне, играющего в гольф и ведущего заседание кабинета министров. Но во всех ролях жалкий его вид навевает одну мысль: «Итог подбит, и дни сочтены».

— На ладан дышит, а головы снимает,— как бы вторит моим мыслям Хуан.

Пятый год Испании на моем пути, и всюду я слышу, как ждут не дождутся смерти диктатора. Что за сила кудесника заложена в этом ходячем трупе? Можно подумать, что он околдовал свободу Испании и все ждут, когда окачурится колдун и из его рук выпадет волшебный

ключик преобразований. Об этом я и спросил Хуана и Анхелу:

— Неужели Франко такой всемогущий самодержец?

Хуан пыхтит толстой сигарой, с ненавистью и злорадством следит за несуразными движениями каудильо.

— Не так страшен идол, как его жрецы — идолопоклонники,— вздыхая, отвечает мне он,— пока жив самовластец, каждый тупой и ничтожный подхалим готов уничтожить всех испанцев, только бы угодить своему властелину. А не станет его — не станет фетиша, предмета поклонения, некому будет воздавать жертвы. И лизоблюды сцепятся тогда клыками в схватке за влияние среди жрецов. В разброде и интригах противоборства они станут сговорчивее, не будет большой крови...

Анхела ставит на стол тарелку с караколес (улитками) в провансском масле с рисом и вспоминает отца:

— Караколес — его любимое блюдо. Был бы он жив, он пел бы сейчас от радости — какая встреча! Он очень любил посидеть с русскими за бокалом вина...

Хуан знает: каждое воспоминание об отце кончается слезами, и он старается увести жену подальше от печали.

— Анхела, как этот анекдот об омлете? Расскажи нам, пожалуйста.

Без улыбки, не расставаясь со своими думами, она начинает неохотно и вяло:

— Донья, которую никак не одолеет смерть, вздремнула, забыв про омлет в сковородке, поставленной на огонь. Жарился, жарился омлет и, не выдержав, заговорил. «Когда ты перевернешь меня на другой бок? — спрашивает омлет.— Я уже устал ждать, давно пришло время, а ты все дремлешь». И ответила ему сковородка: «Тебя перевернет тот, кто изголодался».

— Вы поняли, о чем идет речь? — спрашивает Хуан.— У Анхелы свой ежедневный анекдот, она говорит:

«Когда варится мясо, с ним что-то происходит, оно меняет цвет, форму и вкус». То же самое с нашей Испанией — что-то варится и что-то происходит...

— Хуан смеется надо мной, а мне откуда знать, что происходит, но я вижу явно, что происходит что-то...

Хуан нежно берет ее за плечи и усаживает рядом.

— Не верьте ей, она прикидывается. Анхела может не знать, какие там физические и химические процессы происходят при варке мяса, но что происходит в стране... Сама в руководстве «ассоциации домохозяек» — почти революционер-подпольщик!

— Видите, какой он насмешник, мой дорогой супруг! Сейчас повсюду создаются у нас ассоциации: у музыкантов свои, у торговых людей свои, существуют даже «ассоциации соседей».

— Но все это в пику официальным профсоюзам, так называемым «франко-вертикальным», которым нет веры?

— Конечно.

— Ассоциации игнорируют муниципальные власти?

— Конечно.

— Значит, организации нелегальные, революционные?

— Какая там «революционная организация»,— Анхела безнадежно махнула рукой на мужа и принялась доливать вино в бокалы,— просто мы научились помогать один другому: полиция, например, обрушилась на рабочих бастующих, а мы все опускаем шторы своих магазинов. Забастовка? Саботаж? Нет. Мы просто очень боимся полиции. Мы хитрые...

— Это и есть трудовая солидарность. Пойми, Анхела, действие революционное!

— А ваш сосед из «Голубой дивизии» тоже состоит в «ассоциации соседей»? — спросил я.

— Нет,— ответила Анхела,— он против всех ассоциаций, и все мы против него.

— Зато Анхела в трех ассоциациях,— добивает жену Хуан,— домохозяек, соседей и торговых людей. Активистка!

— И успеваю всюду,— отбивается Анхела,— и сварить, и постирать, и накормить, и торговать за прилавком.

— Скоро она вступит в ассоциации прачек и кухарок, и тогда мне довольствоваться бокадильос (бутербродами).

Анхела по-дружески хлопнула супруга по шее.

— Хуан — эгоист, как все мужчины, страшно боится остаться без присмотра жены.

— Боюсь потерять жену. А к тому идет: если ее не арестует полиция, так она с головой окунется в общественную деятельность.

— Сам берегись, Хуан, ты — теоретик! Как бы твой язык в клещи не взяли.

— Каждому свое, каждый по-своему строит свою оппозицию: рабочий бросает работу, священник становится членом рабочей комиссии, банкир помогает семьям заключенных коммунистов, офицеры армии отказываются исполнять роль полиции, а я только подбиваю итоги и делаю для себя выводы.

— Но выводы какие! Знал бы Франко...

— Выводы самые объективные, самые верные: чем сильнее сжимается пружина насилием, тем сильнее ее сопротивление. Ни в одной стране мира нет такого количества забастовок, как в Испании; в Эльфероле армия отказалась помогать полиции против бастующих; тиражи газет гибельно падают, и, чтобы не вылететь в трубу, издатели-франкисты печатают крамольные фельетоны и даже рискуют издавать коммунистические листовки; барселонский банкир Пухоль субсидирует запрещенную пропаганду каталонского языка. На три года посадили банкира за решетку, он честно отсидел, вышел из тюрьмы и теперь

угрожает переговорами с коммунистами. Он заявил: «Нравится вам или нет, но коммунисты существуют, и с этим нельзя не считаться». Таков мой итог. И выводы: коммунисты всегда в центре событий, от них и все зло для режима, они самые активные, организованные, подвижные, не знающие усталости, они — соль земли и дрожжи — основа закваски демократии. Сегодня всех терзает один вопрос: что же завтра? Об этом думают во дворцах власти, в подвалах Сопротивления, в казармах недоумения и у святых — врат растерянности.

— Как вы думаете,— обращается ко мне Анхела,— лет двадцать тюрьмы заслуживают его выводы?

На этом диалог оборвался, нас отвлек экран телевизора, на арену ворвался черный ошалелый бык и с места в карьер, не обращая никакого внимания на своего врага матадора, устремился к противоположным трибунам — королевской ложе.

— И даже бык против Франко,— заметила Анхела.

— Такое редко увидишь,— проговорил Хуан и заерзал в кресле,— вам повезло. Какой-то бешеный зверь, смотрите, смотрите, что он вытворяет.

С разбега бык перекинул передние ноги через деревянный барьер, подтянул задние ноги и, очутившись в коридоре, где на время поединка размещается куадрилья, погнал ряженых бандерильеро, рабочих манежа и пунтильо по кругу узкого прохода. Перепуганная свита уносила ноги быстрее зайцев. Они ломились в закрытые двери, ныряли в открытые, забивались в каждую щель. Амфитеатр орал, ржал, свистел, неистовствовал. Но не всем было до смеха и восхищения. Санитары в белых халатах унесли раненого и уводили пострадавших зрителей первых рядов, которых, вероятно, бык достал копытами передних ног.

Тореро постоял на арене, с досады плюнул и покинул манеж. Не повезет — так не повезет с первого быка.

Наконец зверя загнали в ворота загона, и арена некоторое время оставалась пустой. Оператор показывал растерянное лицо Франко, его безумные, блуждающие глаза.

— Если уже быки бросаются — надо уходить «отцу нации»,— заключил Хуан.

Анхела лукаво улыбнулась, кивая в сторону мужа.

— Повелитель. Родная дочка Франко советует папаше уходить в отставку, а он что? «Сам господь наделил меня тяжким бременем власти, и я обязан нести его до конца моих дней».

— Отставка-компромисс, она не решает вопроса, уходить надо совсем.— Хуан решительно допил вино, взмахнув рукой, словно саблей.— А знаете ли вы, что каудильо хорошо изучил Маркса? О-о-о, как сопротивлялся он денежным воротилам, чтобы те не строили крупных заводов, но капитал победил, ему нужны барыши, и вырастил крепкого могильщика на свою голову. До войны у нас насчитывалось где-то шесть миллионов рабочих. А сегодня их больше двенадцати — одна треть всего населения!

На манеже тореро с мулетой демонстрировал искусные пасы, вокруг него метался в безумии рыжий бык, шея его была опоясана широким плывущим обручем крови. И снова в объективе — Франко с открытым ртом, с напряженными жилами азартно следит за сражением человека и зверя. Ему ли впервые видеть кровь? Повидал ее на своем веку, горячую, алую человеческую кровь.

— «Великий миротворец»! — потухшим огрызком сигары Хуан указывает в сторону экрана.— Тридцать два года он ведет Испанию мирным путем! А тридцать пять лет внутренней войны, жестокой, кровавой войны с народом не в счет? Лицемеры, фарисеи...

Анхела взобралась на табурет, сняла со стены портрет отца и унесла его в другую комнату. Минут через пять она вернулась, держа в руке какие-то газеты.

— Сколько у нас было обысков,— спросила она,— пять или шесть? В квартире все перерыли, все книги, все тайники, все вывернули наизнанку, а я сберегла для вас в честь памяти об отце, сберегла от гристапо вот это,— и она протянула мне обрывок фронтовой газеты испанских коммунистов «Френте рохо» за 22 ноября 1938 года и многостраничную газету польских бойцов-интернационалистов «Охотник вольносци».

Я поблагодарил Анхелу за дорогой и памятный подарок, за ее подвиг и поцеловал ее.

— А гристапо, вы знаете, что это такое? — спросил Хуан.

— Догадываюсь.

— Наши каратели: и полиция, и гражданская гвардия, одетые в серые мундиры,— объяснял он,— а «серый» — по-испански «грис», производное — франкистское гестапо.

Пока мулы тянули через арену убитого быка и тореро раскланивался, пожиная плоды своего кровавого искусства, я написал короткое письмо Розетте и Базилио в Барселону, в котором просил при возможности черкнуть два слова о случившемся. Хуана и Анхелу попросил опустить письмо в почтовый ящик. Так оно безопасней. Они заинтересовались судьбой Базилио и Розетты, записали адрес и пообещали их навестить при первом же удобном случае.

— Проведаем обязательно,— заверила меня Анхела,— может быть, русский медик избавит меня от приступов.

Мне хотелось просить Анхелу и Хуана писать в Одессу и о своем житье-бытье, о всех переменах в Испании, но я отказался от этой мысли, чтобы не навлечь на них каких-нибудь неприятностей и подозрений со стороны властей.

...На другой день пополудни мы встретились с Хуаном у морского клуба. Я передал ему флакончики аллохола

и но-шпы, таблетки папаверина с платифиллином — все, что нашлось в аптеке нашего судового врача. Хуан пожелал нам счастливого возвращения на Родину, а я ему — поскорее увидеть свою родину счастливой и жену — здоровой.

Встретились мы, не протягивая друг другу рук, а прощались крепкими объятиями, убедившись, что вокруг нас никого не было. По щекам Хуана текли слезы.

— Испанию счастливой я увижу, но она меня счастливым — никогда. Страшная болезнь у Анхелы, неизлечимая...

ВОСЬМОЕ СВИДАНИЕ

Где-то на трехкилометровой глубине Средиземного моря с координатами 0 градусов 11 минут западной долготы и 36 градусов 47 минут северной широты покоятся останки нашего теплохода «Комсомол». На теплоходе «50-летие комсомола» я снова отправляюсь в рейс.

И в этом есть что-то символическое.

Первый мой «Комсомол» — скромный труженик моря — был неказист своим видом, с грубоватыми обводами, тихоход без «кондишена» и холодильников, без радаров и авторулевого, и он не мог, конечно, соперничать с этим гордым скороходом, оснащенным от клотика до киля новейшим навигационным оборудованием, с его крейсерским силуэтом, с комфортом просторных помещений.

В конце пылающего августа 1975 года мы покинули Ильичевск, а в сентябре я снова воскликнул: «Здравствуй, Испания! Здравствуй, страна многотрудной судьбы, страна моей далекой молодости!» Четыре года отделяют меня от десяти дней, проведенных в портах Испании. За это время над Пиренеями прошумело немало ветров — добрых и злых,— и многое здесь изменилось.

— Здравствуй, Барселона — столица непокоренной Каталонии!

С высоты горы широкой лестницей спускается к морю барселонское кладбище, заставленное свечами кипарисов.

Амфитеатр мертвых вырос на одну ступеньку, и лестница к солнцу стала выше. На своем месте стоит каравелла Колумба, а где же делся ее капитан? Ах, вот оно что: раньше колонна с Колумбом четко вырисовывалась на фоне неба, теперь черный пилон перекрыт высотным серым ящиком здания, и Колумба надо искать вооруженным глазом.

У причала восточного мола лежит полузатонувший ржавый греческий пароход, взорвавшийся от химических соединений грузов, не терпящих соседства. В порту пополняет свои запасы американский военный транспорт Е-21.

Полицейские больше не спят на советских судах, не обедают и даже не несут свою службу на борту. Усиленная охрана сосредоточена теперь на причале. В чем причина таких резких перемен? Обиделись на нас господа, что ли? Но, судя по коротким репликам докеров, обстановка в стране накалена до крайности, и полицейское начальство, теряя веру в своих подчиненных, удалило их подальше от «красных». Усложнилась и пропускная система при увольнении экипажа на берег: кроме обмена паспорта на пропуск, каждый раз надо отмечаться у полицейского при выходе с судна и при возвращении из города.

Падение фашистских режимов в Португалии и Греции, революционные преобразования в Эфиопии не на шутку перепугали последнего диктатора в Европе и удесятерили силы сопротивления. Каудильо слег в госпиталь. Впервые правительство Испании возглавил Хуан Карлос, миллионы патриотов развернули на всех фронтах небывалое наступление. Но тиран воскрес. Стоявший одной ногой на том свете, он выполз из госпиталя, отчитал за нерешительность своего преемника, и кровавая машина репрессий завертелась полным ходом: облавы гристапо, трибуналы, приговоры. Из трехсот арестованных

только в сентябре одиннадцать человек приговорены к смертной казни. Среди них две молодые беременные женщины. И это в конце XX века!

Громыхают парады войск в городах, парады армии на экранах телевизоров — внутренние маневры для устрашения народа.

Как и прежде, шумит, суетится Рамбла: шелестят цветные обложки журналов, на разные голоса щебечут птицы, пахнет цветами. Но не узнать барселонцев. Все куда-то спешат, голоса громкие, движения резкие, глаза — раскаленные угли, поступь твердая.

Над мачтами судов снуют кабины подвесной дороги. Они проплывают над портом, доставляя из парка Монтжуич посетителей в ресторан, приютившийся на вершине огромной вышки, которая железными лапами упирается в причал Барселонеты. Прошлый раз Розетта и Базилио говорили, что и они совершают «воздушные прогулки» над портом, когда тут стоит какое-нибудь советское судно. Может, и сейчас они разглядывают сверху наш теплоход. Не знаю, что случилось, но ни одного письма от них я так и не получил за все четыре года.

Одно письмо пришло из Бильбао от Хосе. Он писал, что остался без работы, ищет «подходящее дело» на других заводах и что собирается приехать в Советский Союз и заглянуть в Одессу-маму. Не пойму, как можно человеку, оказавшемуся без работы, планировать поездку за границу. Весь он какой-то противоречивый, и трудно установить, где говорит правду, а где лжет. Поэтому письмо Хосе не вызвало во мне ни чувства сожаления, ни радости предстоящей встречи. Просто информация для размышления.

Стивидор проводил меня в пакгауз, и я набрал номер Розетты и Базилио. В трубке слышны гудки вызова. Словно из-под земли вырос полицейский. Молча стоит он у стола и пялит на меня злые глаза. Хорошо, что я успел

набрать номер до его прихода. Теперь плевать на полицейское неудовольствие. Может, я звоню агенту фирмы, в таможню, капитану порта, лоцману, самому Франко. Тем не менее они следят за каждым нашим шагом, а я — персона нон грата — уж больно стал смелым, если не нахальным. Чем это кончится? Ворчанием полицейского — для меня и донесением о сочувствии «красным» — для стивидора. Я слышу гудки вызова, но никто не снимает трубку, никто не отзывается и, наверное, в данной ситуации это к лучшему. О чем можно было бы говорить при гристаповском свидетеле? И все же что могло случиться с моими друзьями, куда они делись?

Уложив старательно трубку на место, я с подчеркнутой учтивостью извинился и с сожалением добавил:

— Не отвечает сеньор Альба.

Не знаю, что подумал представитель режима, услышав фамилию известного испанского герцога, но прищур ненависти у его округлившихся глаз исчез. Полицейский проследовал за мной до самого трапа, не проронив и слова.

Вечером я безнадежно набирал тот же номер с городского автомата. Вдруг после третьего гудка мне ответил незнакомый мужской голос. Незнакомый. Может, простыл Базилио, охрип да и не так уж часто говорил я с ним, чтобы сказать «незнакомый».

— Добрый вечер,— четко проговорил я по-русски.

Слушающий в недоумении затих, притаился, стараясь усвоить, что происходит: искажение испанского языка или нечто загадочное? Подул в микрофон, желая убрать помеху, не позволившую понять, что ему сказано, потом неуверенно выпалил сразу: «Куда вы звоните, кто вам нужен?»

Нет, не Базилио. Теперь я был в этом уверен и молча повесил трубку.

На Рамбла мне предложили интересный сувенир.

— Поймите, не какой-то сувенир древности, а сувенир суперсовременной Испании! Всмотритесь, вдумайтесь — сувенир века! — втолковывает каталонец и буквально втискивает в руку обыкновенную серебряную монету достоинством в 50 песет. Но за нее надо платить 100 песет. Какая-то нелепость. Откровенное вымогательство.

— Кэ фуэрта амор пор ла каудильо! (Какая крепкая любовь к каудильо!) — хитро улыбаясь, внушает мне предлагающий «сувенир века».

Вот оно в чем дело: на монете пробойником изуродован профиль Франко. Исчезли нос, губы и глаз. От усердного удара монета вогнулась, и на обратной стороне образовалась выпуклость, повредившая герб.

— Однако за что же сто песет, когда монета стоит всего 50?

— Пор риесго (за риск).

Логика у парня железная. Бесспорно, свидетельство проявленной «любви» — риск колоссальный и многократная ответственность за покушение на каудильо, за порчу денежных знаков, за подрывную деятельность, за пропаганду, за подстрекательство, за...

Еще четыре года назад такое было немыслимым, а сегодня — явь. Впервые, вопреки здравому смыслу, я обменял сотню песет на пятьдесят. И приобрел вещественное доказательство «горячей любви» испанского народа к «отцу нации».

С первого часа стоянки в Барселоне агент фирмы «Вапорес Суардиас» прожужжал капитану уши о том, что завтра на судно пожалует сам вице-директор компании.

— Это же сам сеньор Фаси! Это же правая рука хозяина фирмы! А бывает так, что он больше весит, чем сам хозяин!

Виталий Андреевич Погорелов — человек хлебосольный и всегда с открытой душой готов принять самого

высокого гостя, но не привык он — не умеет таять и преклоняться перед чинами, рангами и весом своих гостей. Ему противно пресмыкательство и славословие, и поэтому раболепные стенания агента он воспринимает с иронической улыбкой, а тот не может понять этого и распинается еще больше, расхваливает, возводит свое начальство чуть ли не в президенты вселенной, только бы убедить капитана Погорелова в особой важности предстоящего события. Оно и понятно: для агента вице-директор — величина непостижимая, а для советского капитана он — обыкновенный бизнесмен в ранге вице-директора обслуживающей фирмы и только.

Конечно, ему накроют стол с русской водкой, икрой и крабами, и капитан будет с ним вежлив и деликатен, как и с тем же агентом, с которым обычно всегда решает все вопросы, связанные с грузами, деньгами, документами и нуждами экипажа. Все это в порядке вещей. Но почему вице-директор решил нанести визит именно советскому капитану? Этот вопрос представляет определенный интерес.

Деловые люди в гости просто не ходят. Русскую водку и деликатесы вице-директор в состоянии купить. Познакомиться с капитаном он имел возможность несколько лет назад. Соперничество с конкурентом?..

«Вапорес Суардиас» — одна из крупнейших фирм страны с широко разветвленной сетью своих представительств. Компания владеет собственными морскими судами, складами, грузовыми средствами и обслуживает не только судоходство, но и международные авиалинии. Где-то на одном уровне в тех же отраслях ведет свое дело конкурент «Вапорес Суардиас» — компания Бакуера, Кусче и Мартин С. А.— «Бакумар». Советское судоходство пользуется услугами обеих компаний. Может, «Бакумар» обставил «Вапорес Суардиас»? В это поверить

трудно. Последняя фирма всегда занимала доминирующее положение в соперничестве.

А не связан ли этот визит с тем, что на борту нашего судна присутствует ответственный представитель Черноморского пароходства по линейному флоту Олег Гупалов? Не исключено.

Однако это оказалось только второй половиной дела, а о первой можно было догадаться, когда вице-директор капитан Хосе А. Фаси как бы между прочим, вскользь проговорил, что каудильо Франсиско Франко подписал решение о создании на базе «Бакумар» смешанной испано-советской компании «Интермар» с капиталом в 30 миллионов песет. Что же останется теперь на долю «Вапорес Суардиас»?

Сеньору Фаси весьма важно знать мнение на этот счет представителя Черноморского пароходства и капитана, чтобы определить степень сотрудничества в дальнейшем.

В темных очках, рослый, холеный, с усиками сердцееда сеньор Фаси восторгается своими соотечественниками:

— Испанец всегда доволен своей судьбой. Даже из нищеты он умеет извлекать выгоды и удовольствия.

Я смотрю на его драгоценные перстни, и мне так хочется увидеть, как этот гранд «извлекал бы удовольствия», будучи бедняком.

А через десять минут он негодует по поводу «беспорядков» в Испании. Подумать только, за неполных девять месяцев страна пережила 723 забастовки, 9 миллионов рабочих часов безвозвратно потеряно!

— В какой еще стране мира вы встретите подобное?

Видимо, режим уже так досадил народу и люди достигли той категории нищеты и бесправия, из которых можно извлечь только горечь и гнев, поднявшие их на забастовки. Сеньор Фаси сокрушается:

— Не знаю, что еще нужно людям? Правительство пошло на уступки, разрешены политические ассоциации...

Но он не договаривает до конца: ассоциации разрешены, но они должны безоговорочно поддерживать режим Франко.

— Снова намечается раздел Испании на два лагеря,— сетует он.

И, слушая его, можно подумать, что до недавнего времени Испания была единой: Испания власть имущих богачей и миллионов обездоленных.

...Сеньор Фаси отлично ведет машину. Мы объезжаем причалы порта, мчимся по городу, по тряской дороге до кладбищенского амфитеатра. Возвращаемся обратно и сворачиваем на зеркально-гладкое, но извилистое шоссе, на котором каждый год князь Монако устраивает автогонки. Цветет огромная, собранная со всего мира коллекция кактусов, качаются на ветру их белые плафоны, сиреневые и кремовые метелки-опахала, развернувшись во всю ширь, блаженствуют колоссальные агавы. 240 мощных струй фонтана, описывая в воздухе различные фигуры, сваливаются в озеро. Вечером каждая фигура подсвечивается определенным цветом. Впечатляющая феерия огня и воды собирает толпы гостей и барселонцев.

Еще один вираж парковой дорогой — и мы на вершине Монтжуич. Здесь сохранилась старинная крепость — родоначальница Барселоны. Цитадель много раз реставрировали, модернизировали, и она до сих пор числится действующим военным объектом. На смотровой площадке, откуда открывается величественная панорама Барселоны, стоят дальнобойные береговые орудия, нацеленные на море. Возле пушек несут караул солдаты. К четырехгранной крепостной башне уродливо пристроен железобетонный выступ. В нем размещены дальномеры. Их рога выглядывают из прорези в брони. От батареи веет довоенной стариной. Она как бы дополняет экспонаты орудий,

собранных рядом во дворе замка, где размещается военный музей. Здесь покоятся разнокалиберные и разноцветные пушки: фитильные и замковые, откатные и безоткатные, стрелявшие когда-то ядрами, бомбами и снарядами, коротышки мортиры и гаубицы, худоствольные зенитки и жирные корабельные орудия.

Малыш лет пяти Александром Македонским восседает на железном сидении наводчика спаренных скорострелок и с отчаянным усердием вращает разобщенный поворотный маховик. Родители в восторге. Чем восторгаетесь, безумцы?! Не лучше ли видеть свое чадо за штурвалом трактора? Ведь это и хлеб, и жизнь!

В центре двора в окружении артиллерии на лихом бронзовом коне — генералиссимус Франко. И статный конь, и гордый всадник устремлены туда, где под каменной галереей балконов ютятся магазины сувениров. Жаль, им никогда не добраться к торговым прилавкам. Каудильо так и не узнает, какие цены гнут его подданные торговцы за каждую пустяковину.

Крепостные рвы вокруг дворца. Когда-то в них гуляла вода. Сегодня здесь косят буйную сочную траву — готовят поле для соревнования по стрельбе из лука. Очаровывающе пахнет поверженная, умирающая трава.

В южном рву возвышается массивный стенд из белого мрамора.

Под бронзовым профилем каудильо — надпись: «Военная крепость — подарок генералиссимуса Франсиско Франко народу».

Сколько самоуверенной наглости в этом диктаторе! Поколения испанцев и каталонцев возводили эту крепость, их кровью и потом скреплены ее стены. Теперь нашелся владыка и великодушно дарит народное — народу.

На обратном пути сеньор Фаси пригласил нас отведать национальные испанские блюда. Оставив машину в глубоких лабиринтах подземного гаража, мы долго

выбирались по крутым маршам лестницы на свет божий. В рыбной закусочной вице-директор предоставил нам право выбора даров моря. Переглянувшись с капитаном, мы указали на лангусты, лежавшие в огромном блюде под стеклом горизонтальной витрины.

Стоя за мраморным столиком, пили сербесу (пиво) и ели пирожки с рисом, томатом и молотым тунцом. Специальными вилками-крючками извлекали вкусную мякоть мелких морских каракол. Ели крупную янтарную креветку и какие-то бурые палочки, похожие на лапы черепахи с хрящами внутри. Это оказалось центальо — вид моллюсков, живущих на подводных скалах. Лангустов нам не подали.

— Неужели мы так и не отведаем лангустов?

— Антилангустный рейс.

Смеясь, перебросились мы репликами с Виталием Андреевичем, когда сеньор Фаси ушел рассчитываться за стол.

В Стамбуле нас угощали омарами, в Ливорно и Генуе — различными рыбными блюдами, моллюсками и раками. Всюду нас приглашали к витринам выбирать блюда и всюду мы указывали на лангустов, но нигде их не подавали на стол. Все, что угодно, только не лангусты. Это выглядело смешно и забавно.

Из закусочной сеньор Фаси затянул нас в ресторан. Мы уже были надежно подготовлены сравнительно дешевыми блюдами и не способны нанести крупный материальный урон в ресторане средней руки, который только тем и отличался от рядовых, что здесь вместо фитилей за стеклами пятнадцатилинейных керосиновых ламп горели обычные электрические.

Нам подали рыбу, запеченную в сметанном соусе, минеральную воду «виши, коньяк и на десерт кофе. На дне подогретых пузатых фужеров плескался «фонтенак». Сеньор Фаси положил фужер на бок. До края не хватало

сантиметр коньяку. Непорядок. У сеньора покраснели уши. В ту же минуту подбежал официант и во все фужеры хлюпнул выше нормы. У настоящего бизнесмена копейка не должна пропасть даром.

Говорили о малых партиях грузов, о фрахте и его тенденциях. Когда вопрос уперся в «беспорядки» в Испании, я отважился спросить у сеньора:

— Что слышно с автономией Каталонии?

Сеньор Фаси вздрогнул, глаза вышли из орбит и забегали по сторонам, как бы посторонние не услышали такой крамолы. Ответил он мне выразительным жестом — прикусил кончик языка и сложил рядом кисти рук, готовых к наручникам.

Вояж мы закончили осмотром знаменитого собора «Саграда Фамилия» архитектора Антонио Гауди. В окружении конических малюток от земли устремлены в небо четыре круглых колосса стрельчатой готики, изобилующих параболическими арками, легкими сводами, опорами, вычурными деталями необычной архитектуры, без единственного помещения, где можно укрыться от ветра и непогоды. Архитектурный транзит земля — небо. Архитектура для архитектуры, самовыражение оригинальности ради оригинальности. И, глядя на это грандиозное, красивое строение, невольно думается про тот самый мост, который построили вдоль реки, и о той дороге, ведущей в никуда.

— Когда была построена эта церковь? — спросили мы сеньора.

Видимо, его больше интересуют фрахтовые цены и биржевые новости, чем какие-то особенности архитектуры родного города. Но он отвечает не задумываясь:

— В 1920 году.

Ошибся он всего лишь на тридцать шесть лет. В действительности строительство «Саграда Фамилия» начато в 1884 году и продолжается поныне. И сейчас над головами

долбит камень одинокий каменотес. Строится, достраивается собор рывками, по мере сбора пожертвований.

Пусть простит читатель и не обвинит меня в узком практицизме, но когда сотни тысяч барселонцев влачат жалкое существование, ютясь в зловонных «чеболас», строить великолепный храм сквозняков — по меньшей мере неразумно.

Где-то в этом районе проживают (а может, проживали) Розетта и Базилио. Сеньор Фаси случайно повернул на их улицу, и мы проезжаем мимо того самого дома, который записан в моей адресной книжице. Стоит попросить остановить на минуту машину, пройти и выяснить, какое горе стряслось у добрых людей. «Пройти и выяснить». Как все просто и как все жестоко. До чего же страшное время течет над Испанией. Человек не смеет узнать о судьбе человека. Не имеет права прийти ему на помощь, если он оказался в беде.

ВОПРЕКИ ВОЛЕ ДИКТАТОРА

Перемены, перемены, перемены. Они во всем и на каждом шагу, разительные и невероятные. Недавно населению запрещалось появляться вблизи советских судов, и сами люди боялись приближаться к причалу, где развевался флаг с золотым серпом и молотом. И по сей день никто не отменял запретов, но причал, где стоит «50-летие комсомола», превратился в бульвар. Семьи, пары, одиночки прогуливаются вдоль борта, рассматривают судно, подмигивают нашим матросам, машут руками, не поднимая их слишком высоко. Люди проходят мимо полицейских постов, не обращая на них никакого внимания. Кто посмелее, тот поднимается по трапу на борт, и полицейские сами не знают, как лучше поступить, какие

принять меры, чтобы и инструкции соблюсти, и инцидентов избежать. Повеселели и докеры, стали разговорчивее, обрели чувство юмора.

— Бастуют не только рабочие,— толкует нашему ремонтному механику испанский крановщик,— забастовали министр финансов, министр информации, начальник генерального штаба армии. Не вышли на работу, бросили, ушли в отставку.

Как бы в доказательство правдивости слов своего товарища бородач тычет пальцем в монархическую газету «АВС», где ногтем подчеркнуты строчки: «Все спешат перебежать на другую сторону. От жестких к левым либералам...»

Наперебой рассказывают докеры об аресте шести армейских офицеров, выступающих за демократизацию в стране, о герцоге кадисском Альфонсе Бурбоне — муже любимой внучки Франко.

— Еще один претендент на испанскую корону. Но мы ему покажем.— Брезентовыми рукавицами докер хлопает себя по заду.— Одна семейка — одни порядки. К черту!

С палубы докеры смотрят на причал, ставший бульваром, и у молодого парня сквозь восторг пробивается тревога:

— Такого еще не бывало в Валенсии.

— Было,— задумчиво парирует рыжий, коренастый мужчина,— тридцать девять лет назад не такое было. Тогда он наступал на нас, теперь мы на него. Поколение выросло новое, оно не знает, как молча сказать «Но пасаран!».

— Научится.

Седовласый интеллигент осматривает красный уголок экипажа. Все привлекает его внимание: телевизор, занавески, киноаппарат, Доска почета, стенгазета, соль в солонках, грамоты на переборке, книги в библиотеке,

скатерти на столах и даже метелка, случайно оставленная здесь дневальным.

В руках нашего гостя рулон свернутых газет. Он разворачивает серые полосы и что-то ищет. Наконец нашел. Красным карандашом обведено сообщение об итогах выборов примаса испанской католической церкви в Мадриде: кардинал Таранкон показался каудильо красным, и он решил переизбрать ретивого священнослужителя, а на его место посадить своего верного друга Гуэра Кампоса. Нечистоплотно велась долгая предвыборная кампания. И вот результаты: из семидесяти семи высших духовных лиц за Таранкона проголосовало пятьдесят два, двадцать четыре воздержалось и за Кампоса подан один голос — его собственный. Вопреки желанию Франко примасом остался мадридский кардинал Висенте Энрике и Таранкон.

— Генеральный викарий Мадрида Мартин Патино утверждает: из пятидесяти тысяч священников четыре тысячи — коммунисты,— дополняет гость. И трудно понять, сомневается ли он в достоверности неправдоподобного вымысла или укоряет коммунистов в посягательстве на святую церковь.

Шеф представительства компании «Бакумар» в Валенсии Томас Морено Санчис уехал в Аликанте. Там появился новый грузоотправитель, и его нельзя упустить. Текущую работу шефа в порту выполняют его подчиненные. Всегда деловые, малоразговорчивые клерки развязали языки. Правда, перед тем, как поведать о какой-нибудь сенсационной новости, они прикладывают руку к груди, испытывающе заглядывают в глаза и произносят одно из двух: «секрето» или «конфиденциально». Но утаить в себе, не поделиться не хватает сил. Взахлеб они рассказывают, что полтысячи деятелей, близких к Франко, подписали и направили письмо, убеждая правительство и самого каудильо о необходимости демократических

реформ. Даже генералы — командующие девяти военных округов Испании единодушно решили просить Франко, чтобы он «забастовал» и ушел в отставку. Перед самой аудиенцией у генералиссимуса командующие самыми важными округами — Мадридским и Барселонским — струсили и шмыгнули в кусты. Коалиция генералов распалась. В светском клубе XIX века бывший президент национального института промышленности и помощник министра финансов сеньор Ордонес устроил скандальную подрывную конференцию. В присутствии крупных финансистов, политиков, дипломатов, генералов, сановников, двух герцогинь, двух графинь и маркизов он заявил: «Испания пришла ко времени выбора. Нужны коренной пересмотр законодательства, свобода всем политическим партиям, место народу в решении судеб нации и отказ от насилия». Причем, нарушая святая святых, он говорил не вполголоса, как принято в высших кругах, а громко, как на базаре. Высокое общество шокировано. Клуб единства стал клубом раскола.

Как о величайшей тайне с недомолвками клерки говорят о нелегальной оппозиции, якобы комплектующей новое правительство. «Новое правительство!» — непостижимая крамола. Она так пугает клерков, что они тут же, заглушая страх в себе, демонстрируют лояльность, даже сочувствуют каудильо, не догадываясь, что вся их «крамольная болтовня» уже давно опубликована на страницах испанских газет.

— Конечно, во всем виноват маркиз Вильяверде — большой плут, он подстрекает каудильо.

— Да, генералиссимус пошел на уступки напрасно. Это все равно, что приоткрыть трюм, в котором тлеет хлопок.

— Ужасно. Он еще жив, но его уже как будто и нет, сбрасывают со счетов, и все делается помимо его воли.

Еще в Одессе я запасся лекарственными препаратами, применяемыми при болезнях печени. Теперь, рассовав их по всем карманам, я отправляюсь навестить Анхелу и Хуана. Времени до отхода мало, и надо торопиться.

Пройдя несколько десятков шагов от выхода из порта в сторону бесконечно длинного и унылого проспекта Филиппа Гарсиа, я встретил небритого, сутулого мужчину в потрепанном костюме с расстегнутым воротом рубахи. Мы разошлись с ним бок о бок, но что-то знакомое в его лице остановило меня, и я оглянулся. В пяти-шести шагах стоял и смотрел мне вслед Хуан. Да, это он. И его вид опустившегося человека натолкнул меня на страшную догадку. Что-то кольнуло в сердце. Когда мы сошлись и протянули руки, в печальных глазах Хуана я уловил, что мои лекарства уже не нужны. Молча, мы медленно поплелись к морскому клубу.

— Случилось... Прошлой весной,— выдавил Хуан,— я продал все, чтобы спасти, но бог этого не пожелал... Живу нахлебником у сына.

Я молчал. И ему, и мне с трудом удавалось удерживать слезы.

— Дважды с Анхелой мы ездили в Барселону,— начал Хуан после паузы.— Ваши друзья — прекрасные люди. Они, кажется, переехали в Бильбао. Не скажу точно, куда-то в те края, на север. Сеньора Базилио месяц держали под следствием. По-моему, он так и не понял, что ему инкриминировали. В общем, комиссариат гражданской гвардии пожелал убрать их из Барселоны. По сути, их выслали...

Хуан откусил и выплюнул кончик сигары, закурил.

— Я шел посмотреть на русский корабль, как-то легче на душе становится. Теперь я прихожу к каждому вашему судну. Благо, что полиция больше не чинит препятствий. Хожу сам и хожу с внучкой. Такая забавная у нас Анхелочка, ей уже четвертый годик. Хотел было

уехать в Польшу, в Лодзи у меня родной брат живет, не пустила Анхелочка. Пойдемте к нам, познакомитесь с невесткой, Анхелочку увидите.

В эту минуту мне не хотелось входить в их дом, не хотелось множить печаль.

— Лучше зайдемте к нам, на судно,— предложил я Хуану,— это ближе, рукой подать. Вечером мы снимаемся на Аликанте.

Он поблагодарил за приглашение и добавил:

— Еще рановато. Безопасность пока гарантирована только на причале и то относительная.

— Но нас уже навещают валенсийцы, приходят на борт и даже обедают.

Он беспомощно пожал плечами.

— Вероятно, во мне недостаточно храбрости или избыток недоверия к гристапо.

Как и четыре года назад, мы стали описывать круги у морского клуба.

— Вы слышали, конечно, как бурлит мир против приговоров военно-полевых судов? — спросил он меня.

Я рад был, что «теоретика» от горестных раздумий отвлекла политика, и поспешил спросить его:

— Кстати, что нового в судьбе одиннадцати приговоренных к смерти?

— Военные губернаторы утвердили восемь приговоров. Изъяли женщин и один полутруп. Его раньше уже казнили гвардейцы.

— Значит, осталась последняя инстанция?

— Последняя. Знаете, как было во время войны в Испании? Франко принимал прошение о помиловании с небольшим опозданием, после того, как человек был казнен.

— Вы думаете, что протесты не остановят палачей?

— Убежден. Двух-трех помилует для проформы. Сейчас он пойдет против всей планеты. Он хорошо усвоил,

что мир умеет только протестовать, а против силы общественность силу не применит.

— Однако общественное мнение, экономические санкции, дипломатические ноты...

— Все это меры для людей, не для фашизма. Разве в наш просвещенный век имеют право на жизнь те, чей девиз «Вива муэртэ!» (Да здравствует смерть!). В этом нелепость и в этом секрет живучести Франко и его бункера.

Впервые после окончания второй мировой войны я услышал зловещее слово «бункер», оно ассоциируется с крахом Гитлера. Может быть, это слово и есть предвестник гибели последней крепости фашизма в Европе?

— Да, мир желает спасти от смерти невинных людей,— продолжал Хуан,— но мир до сих пор наивен, не понимает, что идол сегодня ожесточен. Ведь вся его жизнь оказалась прожитой напрасно, все рушится у него на глазах. И пролитая кровь, и смерть, возведенная в геральдику,— все напрасно. Он сегодня готов развязать новую гражданскую войну. Он ее провоцирует. Он сейчас невменяем. Идол тяжело будет умирать.

— Понимаю, это его агония. А Испания все же во многом изменилась. Если можно так сказать, полевела.

— Что верно, то верно. Я уже разыскал текст «Интернационала». Пора учить слова наново...

...Мы покидаем Валенсию.

И сразу опустел причал. Временный бульвар становится серым, холодным и грустным, на нем остались одни тени полицейских.

На внутреннем рейде на мертвых якорях стоит огромный проржавевший танкер. Он обречен. Ему уже никогда не выйти в море. Металлолом, пока еще сохраняющий форму корабля.

Рядом, в затоне судостроительного завода, стоит новый лайнер. Сегодня-завтра забьется его молодое сердце,

затрепещет флаг, и белой крылатой чайкой заскользит он по синеве морей...

В самом лучшем расположении духа встретил нас в Аликанте сеньор Томас Морено. Видимо, ему удалось заключить выгодную сделку, и он чувствовал себя на седьмом небе.

— Ну что за жизнь — все в море и в море,— сыпал он, вертясь вокруг своей оси,— я конфискую вас на два часа, и мы совершим маленький вояж по суше. Это же Испания, черт возьми! Бронзовые фисташки, серебряные оливы и золотые рощи апельсинов. Поехали!

Нас долго просить не пришлось. С капитаном Виталием Погореловым и старшим механиком Владимиром Вахрамеевым мы уселись в машину и после узких городских улиц и перекрестков вырвались на шоссе Аликанте — Картахена, перечеркнувшее равнинную долину приморья, поросшую солончаковыми травами. Замелькали оливковые рощи, апельсиновые сады, опустевшие пансионаты и кемпинги, приунывшие, встречающие сезон зимней скуки.

За скромным отелем с громким названием «Гран Сол» (большое солнце) мы повернули к морю и остановились в тихом курортном городке Санта Пола. Летом жемчужина Коста Бланка (Белого берега) — пестрый и шумный людской муравейник. Здесь во время купального сезона проводит время и тратит деньги какая-то частица из тридцати трех миллионов туристов, ежегодно посещающих Испанию. Сейчас в первозданной тишине по пустынным пляжам бродят вразвалку бакланы, и разморенное осенним теплом море лениво лижет белый песок. В мелководной лагуне ребятишки ловят сачками мелкую креветку, заброшенную сюда штормом. Рабочие курорта переворачивают вверх дном прогулочные лодки. Пахнет расплавленной смолой и морскими водорослями. Все это

напоминает мне наш Каролино-Бугаз под Одессой, такой же берег, те же запахи и та же осенняя идиллия.

В двухэтажном здании ресторана Батистэ за стенами из сплошного стекла нас снова просят выбрать по своему вкусу рыбные блюда. И снова мы сосредоточиваем свое внимание только на лангустах. На столе белое и красное вина, овощной салат со спаржей, креветки, молодые омары и жареные кальмары с лимоном. Кофе и минеральная вода «фонтанова». Лангусты опять миновали наш стол, остались на витрине.

Сеньор Томас Морено ведет разговор с капитаном о перевозке в Монреаль тридцати тонн дынь, предлагает приличную фрахтовую ставку.

— Конечно, возьмем,— соглашается Виталий Андреевич,— но без ответственности за их сохранность в пути. Расписка отправителя — и считайте, что ваши дыни в нашем трюме.

Сеньор Морено скис на глазах. Кажется, его находка партии груза не принесет ему ни гроша дохода и неоправданными расходами окажутся поездка и обед у Батистэ.

Капитан прав. Впереди переходы и стоянки под погрузкой в Кадисе и Лиссабоне, переход через океан и по реке Святого Лаврентия заберут не менее двух недель. За это время дыни могут превратиться в кашу, и за их порчу надо будет платить в три раза больше заработанного плюс хлопоты: как избавиться, куда девать тридцать тонн гнилья? Как ни уговаривал сеньор Морено капитана: «Дыни еще зеленоватые», «Дыни твердые», «Сорт дынь устойчивый для хранения», «Все будет о'кэй», но Виталий Андреевич оставался непреклонным, требовал расписку.

В Аликанте сеньор Морено вернулся в минорном настроении и сразу бросился искать более сговорчивого перевозчика

В коридоре средней надстройки у сатуратора старший моторист Олег Шубин поил газированной водой... дворянина.

Я сразу узнал старика, но не мог вспомнить имя его и фамилию.

— Здравствуйте, господин, совсем забыл, как величают вас...

Он заискивающе улыбнулся и болванчиком закивал головой:

— По-русски не понимает,— объяснил мне Шубин.

— Все он понимает отлично. Показывали судно?

— От мостика до машинного отделения. Все ему очень нравится и даже наша сельтерская вода. Вот подарил ему герб Одессы.

— Спросит о туалетной бумаге — тоже покажите...

Я ушел к себе наверх, но присутствие на судне господина Белокостова (наконец всплыли в памяти его имя и фамилия) не давало мне покоя. Что заставило его прикинуться не знающим русского языка? Что толкнуло появиться на советском судне? Наверное, он посещает и другие наши корабли, заходящие в Аликанте? Выискивает ли он блохи для утверждения правоты своей ненависти или ищет истину, правду для просветления рассудка?

Говорить мне с ним не хотелось. Разоблачать русского дворянина — неравные условия, он все же гость на нашем судне и пользуется иммунитетом меньшинства.

Захватив с собой набор открыток дореволюционной и советской живописи, я бросился искать Белокостова. Его я нашел в кают-компании. Он разглядывал за столиком журнал «Огонек», а Олег Шубин, как мог, старательно объяснял ему подтекстовки к иллюстрациям. Бедный человек, напрасно напрягает память, подбирает известные ему английские, испанские, итальянские слова и привлекает к ним международное искусство жестов.

Заметив меня, дворянин почувствовал себя не в своей тарелке, но смущенность старался скрыть.

— Это вам, Педро Савелья, на память,— протянул я открытки.

Он принял их, перелистал, остановился на «Жатве» художника Орловского. Не дрогнув, разглядывал «Вручение партийного билета» Костецкого. Мельком взглянул на «Победителей Врангеля» — Кричевского и задержался на «Козачьей леваде» Васильковского. Поправив очки, он впивался в буйные купы деревьев, в сочную, влажную зелень луга с пасущейся парой быков. Глаза его затуманились.

— Мучо грациа (большое спасибо),— проговорил он, еле шевеля губами.

Я оставил их вдвоем с Шубиным. Олег угостил его судовым ужином. Когда ему подали украинский борщ, манеры его нельзя было признать дворянскими, он ел жадно и шумно, не оставив в тарелке и капли. От свиного жаркого отказался, выпил стакан компота из сухофруктов и попросил разрешения взять с собой кусочек белого хлеба. Ему завернули в газету целый кирпичик.

Уходил он из судна явно растроганным. Долго тряс руку Шубина, благодарил за внимание и оказанное гостеприимство, но так и не раскрылся — ни слова о своем происхождении, о знании русского языка.

Наверное, остался он благодарен и мне за то, что не выдал его и не стал сводить счеты. Может быть, и следовало отчитать старика за скандал, учиненный на улице. Да что возьмешь от старого осколка прошлого! Я уверен, что его терзают нелегкие раздумья и, наверное, он пересматривает свои позиции, переоценивает ценности. И где-то в глубоких тайниках души, борясь с предубеждениями, привычками, у него зреет сокровенное раскаяние.

КАДИС — САНТА-МАРИЯ

Густая дымка осенних испарений плотной завесой закрыла берега Африки, словно сквозь плотный тюль чуть-чуть проглядывает Гибралтарская скала. Вопреки осеннему равноденствию погода в Атлантике тихая, ясная, мягкая. У мыса Трафальгар встретились с американскими военными кораблями: два крейсера-ракетоносца и два эскадренных миноносца. Посапывают крейсеры, страдают одышкой. Нелегко носить на борту тяжелый, смертоносный ядерный груз. Судя по курсу, идут они со стороны Кадиса, точнее, от пирсов американской военно-морской базы Рота. Ход форсированный, спешат занять свое место в строю Шестого флота, несущего жандармскую вахту в Средиземном море.

На подходе к Кадису нас обгоняют эскадронные миноносцы: один справа, другой слева, третий по корме. «50-летие комсомола» оказывается в сопровождении эскорта. Но это на мой взгляд. Командиры военных кораблей думают иначе: советский транспорт взят в клещи, его положение безнадежно. Он может зайти в порт и стать трофеем или оказаться на дне океана. Уверен, что вояки проводят сейчас учебную тренировку, используя наше судно в качестве противника без кавычек.

Кадис испанцы называют — «серебряное блюдо, положенное на воду». Серебряное не серебряное, скорее керамическое блюдо приютилось на конце длинной косы, далеко выступающей в океан. На нем и разместился белокаменный город старинных замков, крепостных стен и церквей.

Тридцать девять лет назад я познакомился с Кадисом, познакомился, не видя его. Сюда поздней ночью доставил своих пленников крейсер «Канариас». Он высаживал нас именно на этой самой набережной Альфонса XIII, на третьем причале Коммерческой гавани, где поставили

сейчас наш теплоход. Отсюда нас увезли в средневековую тюремную крепость Пуэрто де Санта-Мария. Сюда привезли нас, восемнадцать человек, из тюрьмы и грузили на немецкий тральщик, отправляя в гестаповские тюрьмы Германии. Третий раз я в Кадисе и впервые — свободным человеком, без наручников и без присмотра гражданских гвардейцев и гестаповцев. Что уготовили мне сегодня когда-то проклятые края, державшие нас в неволе и сулившие смерть?

С мостика разглядываю в бинокль окрестности: вон на той стороне ворот Кадисского залива зажигает огни Рота, на противоположном берегу Кадисской бухты кустарником кучерявятся устье и широкая пойма реки Гвадалета. На ее берегах где-то за зеленью Маквисовых рощ прячется Пуэрто де Санта-Мария. Ее не видно, но Святая Мария всего в девяти километрах от берега океана и в одиннадцати — от меня. Надо побывать там во что бы то ни стало. Я еще не знаю, как это устроить, но быть в такой близости и не навестить свое прошлое, упустить такой случай — грех непростительный. Я обязательно побываю у логова смерти, и капитан Виталий Погорелов — мой верный соратник в задуманной «операции».

Полиция выдала пропуска. В Кадисе они выписываются без имен и фамилий. Вместо них — порядковые номера, под которыми члены экипажа значатся в судовой роли. В тюрьме тоже не было фамилий, существовали одни номера. По номерам на бирках передавали нас гестаповцам. Для этого края фамилия — очевидно, пустая условность. Номера на быках, на бутылках фирмы «Осборне», номера на дорогах, под номерами и люди.

Компанию «Бакумар» («Интермар») здесь представляет Антонио Кастро — веселый, подвижный и крепкий андалузец. Два года он постигал науку тавромахии (науку боя с быками) и восемь лет купался в славе удачливого тореро, сражаясь на аренах с быками. Тридцать быков

убил он, пять быков убивали Антонио, оставив ему на всю жизнь память — глубокие рубцы шрамов на теле от бычьих рогов. Теперь он стал администратором офиса и называет себя в прошлом «сумасшедшим юнцом», но, бывая в своей родной деревне под Севильей, каждый раз «балуется» с быками и выходит победителем.

— Как моряка тянет в море, так тореро влечет арена,— признается Антонио.— «Тореро вида — вида Аррастре» (жизнь тореро — влачение жизни).

Недавно перед организацией испано-советской компании «Интермар» в помощь Антонио прибыл из Великобритании ассистент Кевин Вриглей — длинный, худой и скрипучий англичанин, женившийся где-то под Ричмондом на испанке. Жена потянула его на свою родину, и гордый бритт удивительно легко согласился сменить зеленые луга Англии на красно-бурые холмы Андалузии. Поразительно быстро, за восемь месяцев в совершенстве овладел испанским языком. С Антонио они сотрудничают пока без конфликтов, хотя заносчивый британец при удобном случае не прочь продемонстрировать свое превосходство и ущемить самолюбие андалузца.

За обедом в скромном кабачке «Месон де ля Пиканеро», у самой крепостной стены, на улице Аве Мария Кевин Вриглей не без ехидства шутил:

— Антонио хочет вернуть Испании Гибралтар? Мы можем только обменять его на Кадис,— шпинает он своего шефа.— Френсис Дрейк не раз штурмовал Кадис, но его удержали крепостные стены. Не было бы их — не было бы Антонио в Кадисе. Он должен целовать эти седые камни.

Антонио не остался в долгу.

— Не было бы Кадиса, сэр Вриглей шлялся бы по своему Альбиону без работы. Так что милый Кевин обязан целовать не только камни Кадиса, но и вывеску фирмы «Бакумар».

В «Месон де ля Пиканеро» мы с капитаном отказались выбирать рыбные блюда, а совершенно откровенно высказали свое желание:

— Лангусты.

Наш заказ был услышан, утвержден кивком головы и улыбкой и тут же наглухо забыт. Как бы вместо каких-то захудалых морских раков Антонио принес в наперстках коньяк, уверяя, что его возраст исчисляется восемьюдесятью годами, что он выдерживался в бочке, которой недавно исполнилось пятьсот лет и что бутылка такого коньяка стоит сорок пять тысяч песет. Конечно, все это он намного преувеличил.

Опытные виноделы утверждают: коньяки, как и вино, выдержанные более пятнадцати-двадцати лет, теряют свои качества и становятся «мертвыми». Они обретают тягучесть, утрачивают свой первоначальный букет, цвет, вкус, а с ними и ценность и могут представлять собой предмет гордости коллекционеров. Пятьсот лет бочке — возраст не менее сомнительный. Я не берусь спорить о продолжительности жизни дубовой клепки, но то, что винодельческий дом «Осборне» основан в 1772 году,— можно установить по каждой бутылочной этикетке компании. Стоимость бутылки коньяку, вероятно, перепутана со стоимостью бочки с коньяком.

Зацепившись за компанию «Осборне», основные предприятия которой размещены в Пуэрто де Санта-Мария, мы с Виталием Андреевичем тактично, но напористо акцентировали на желании познакомиться поближе со столь знаменитым производством. Антонио уловил наш интерес и пообещал свозить в этот «славный городок». Тем более, что на его арене он провел не одну корриду. К тому же прибывающий завтра старший инспектор компании «Бакумар» с великим удовольствием совершит с нами приятное путешествие с дегустацией. На том и порешили.

Первый шаг нашей «операции» как будто сложился удачно. Теперь предстоит разработать версию, которая не вызвала бы подозрений и позволила бы нам отыскать тюрьму. Думай, брат, думай!

В тот же вечер с Виталием Погореловым мы решили сами себя попотчевать лангустами. Уплетая вкусную, нежную, ни с чем не сравнимую розовую мякоть, мы по-доброму посмеивались над нашими друзьями, до сих пор не сумевшими достойно оценить «пищу богов». Нам стало совсем не смешно, если не грустно, когда на стол лег перевернутый счет. 720 песет за две порции. Это за пять-шесть порций — более двух тысяч. Да-а-а. Все стало сразу понятным. Наши друзья не хуже нас знают толк в лангустах, но они знают еще и цену. Больше мы нигде не заказывали «деликатес богов», считая это неприличным.

...Оставив позади Пуэрто де Тьера (ворота земли) в древней крепостной стене, машина вырвалась из Кадиса на косу и свернула влево на мост, перекинутый в 1972 году через бухту. Несколько минут — и мы уже проезжаем мимо судостроительной верфи Матагорда с доками, тяжеловесными кранами и корпусами судов.

В те далекие годы нас везли в «черном вороне» вокруг Кадисской бухты. Теперь мост сократил расстояние до Санта-Марии километров на шесть. Старая брусчатая дорога с заброшенными мостками оказалась забытой и ненужной. Описав круг, она выходит на параллель с новым асфальтовым шоссе, вся в выбоинах, поросшая бурьяном.

Может быть, не существует уже и тюрьмы? Может, за ее крепостными стенами создан музей пыток и экзекуций? Но нет, еще не пробил тот великий час для Испании.

Дорога № 4, ведущая на Мадрид. Указатели сообщают: до Севильи 121 километр, до Санта-Марии — девять километров. Мне пора выдавать придуманные версии,

«застолбить» предлог для поисков тюрьмы, а я не могу сказать и слова, меня сковало какое-то оцепенение. Ни в тюрьме, ни на свободе я никогда не думал, не помышлял и даже во сне не видел, что наши дороги с Санта-Марией когда-нибудь сойдутся.

Меж лугов и рощ вечнозеленых зонтичных самшитов поблескивают речные излучины, зеркала озер, по ним снуют рыбачьи и грузовые кораблики, и кажется, что они плывут по густым травам. Вдоль дороги поставлены щиты с черными силуэтами быков. Местная экзотика привлекается для украшения рекламы хмельной продукции «Осборне-ветерано». Такие же силуэты на этикетках коньяка «Филипп II» и «Магно», такие же остророгие быки безмятежно пасутся на лугах, не зная и не ведая, что в следующий сезон они на дне горланящего котла арены падут от шпаги тореро, и рабочий мул, привыкший к крови, будет волочить их мертвые туши через весь манеж.

— Пятьдесят тысяч боевых быков растят в стадах для корриды,— рассказывает Антонио, совершая головокружительные виражи на поворотах.

— Тореро! Осторожнее веди машину,— остепеняет его шеф из Мадрида,— быки тебя не добили, их ошибку может исправить машина, но мы тут при чем?

Антонио шутя извиняется и заканчивает свою мысль:

— Быков выращивали намного больше, но в последнее время укрепился конкурент, злейший враг корриды — футбол.

— Думаю, не один футбол,— вставляет гость,— люди устали от крови...

Старший инспектор компании, капитан торгового флота Мануэль Урибес — баск, уроженец Картахены, разумный, веселый и приятный собеседник, подкупающий непринужденностью, открытой простотой и искренней демократичностью.

Наконец я приступил к изложению своей версии:

— Насколько мне помнится,— врал я бессовестно,— то ли в нашей Советской Энциклопедии, а может, у Брокгауза — Ефрона сказано, что в Санта-Марии одно время находился в заключении Христофор Колумб. Хотелось бы побывать у этой крепости.

Я ждал, как среагируют на мою выдумку.

— Впервые слышу,— немного подумав, ответил Антонио.

— Есть такой замок,— подтвердил Мануэль Урибес и, обращаясь к Антонио, назвал улицу,— на холме возвышается. Обязательно взглянем.

Крючок заброшен, и он за что-то зацепился.

Почти за четыре десятилетия Санта-Мария немного раздалась вширь, на южной окраине выросли высотные дома, а старый город остался таким же, каким он запечатлен в моей памяти: домишки в один-два этажа с традиционными испанскими двориками, с ажурными балконами и решетками на окнах, словно каждый дом здесь является карцером, а весь городок — приложением к тюремному центру.

Остановились мы, как надо было и ожидать, у Пласа де Торос (площадь быков). Антонио мгновенно разыскал смотрителя, своего старого знакомого, и нас пригласили осмотреть арену, пустующую до апреля следующего года. По круговой границе пикадоров мы обошли сырой от дождей манеж, заглянули в коридор бандирильерос, остановились у деревянного щита, служащего в критические минуты убежищем тореро. Двухдюймовые доски щита, хранящие на себе слоеные пятна засохшей крови, почти насквозь исковыряны ударами рогов.

Через ворота, из которых выпускают на арену быка, попали мы в пропахшие навозом стойла. Сейчас там привольно гребутся крупные голландские куры — хозяйство смотрителя. Против ложи президента корриды находится

калитка тореро. Торным путем мы пробрались в романтические и мрачные кельи: раздевалка, умывальник и комната отдыха тореро. Молельня с иконой святой Марии, у лика которой всегда горит электролампада. Здесь молятся те, кто выходит на бой и просит пресвятую деву содействовать успеху. Рядом госпиталь. Операционный стол, и над ним бестеневая лампа. Здесь стонут тореро, когда их приносят на носилках и к ним возвращаются сознание и боль. Бывает, отсюда уносят их покрытыми с головой белыми саванами.

При ложе президента — его просторный кабинет, весь завешанный разноцветными, поблекшими от времени афишами состоявшихся коррид в Санта-Марии, начиная со дня открытия арены в 1864 году. Афиши позволяют установить, что на этой арене Антонио Кастро провел пять победных сражений. Правда, однажды он поймал бычий рог левым бедром, но стоит ли сообщать о пустяках. Это не в счет. У его фамилии нет крестика, не назван он и в числе погибших — значит, удачливый, настоящий тореро.

Я был уверен, что после арены мы сразу отправимся искать «место заключения Колумба», но вмешался Кевин Вриглей и настоял на другом.

...Мы мчимся по широкому бетонному шоссе вдоль густого проволочного заграждения на юго-запад от Санта-Марии. Высотные здания и коттеджи, госпитали и клубы, казармы и полигоны — все это собственность Соединенных Штатов Америки на испанской земле.

— Здесь очень интересно,— щекочет наше любопытство британец,— Рота — крупнейшая военно-морская база в Европе. Под землей спрятан целый город со складами ядерного боезапаса и топлива, со штабами, вычислительными станциями, управлением и центрами связи. Желаете посмотреть?

— Нет,— равнодушно отбивает его атаку капитан,— военное однообразие — зеленая скука.

— Нас интересует история, Колумб.

— Странно, — скрипит Вриглей, — Рота интереснее какого-то каземата. Сюда не допускают даже местных жителей...

— Зачем же мы сюда премся? — уместно спрашивает Мануэль Урибес.

Действительно, какого дьявола его понесло в запретную зону? Вриглей невинно пожимает плечами.

— А может, договоримся, пропустят ради русских гостей?

— Кругом арш! — командует сам себе Антонио и разворачивает машину. Он неисправимый фанатик, помешавшийся на быках. Завез нас в готель «Фуэнтобравиа» (скальный источник) и потянул полюбоваться молодыми торос в загоне. Он просунул ногу между толстыми прутьями решетки, и три ощетинившихся бычка сразу же бросились к нему, выставив крутые лбы с короткими рогами.

— Испанские быки — самые злые, но я обожаю торос,— восхищается Антонио их ярым нравом.

— Я их люблю не меньше,— говорит ему в тон Мануэль Урибес,— особенно молодых и в вареном виде с горчицей.

В летнем баре выпили по бутылочке пива с солеными зернами поджаренного миндаля. Меня потянуло взобраться на смотровую площадку, чтобы взглянуть с высоты на город, отыскать башни и стены тюремной крепости. Кажется, я ее обнаружил на северной окраине города. Во всяком случае, что-то похожее, но, как назло, ветер качает деревья и зеленая листва мешает как следует разглядеть здание.

Наконец Антонио смилостивился. Мы идем к месту заточения Колумба. Остановились у подошвы когда-то

могучего холма, стесанного лопатами рабов, осевшего от времени и обложенного вокруг гранитными глыбами. На его широкой спине за сплошным забором из железных плит шумит старый роскошный парк. Где-то в его невидимом центре расположен дворец. Там некоторое время гостил Колумб. Сегодня дворец принадлежит какому-то знатному маркизу. Совсем, совсем не то. В таких дворцах нас не содержали.

— Это дворец, а Колумб сидел в обыкновенной крепостной тюрьме,— внушаю я спутникам свое вранье как истину,— там, кажется, и мемориальная табличка имеется.

Постояли. Подумали. И куда-то поехали снова. Кажется, мы избрали верное направление. Вот она, река Гвадалета с деревянными парусно-моторными шхунами, за руслом широкий заливной луг, рядом с рекой железная дорога и та самая станция... Она была видна из окон камер второго этажа. Если взобраться на плечи товарища, ухватиться за решетки, поджаться на руках, тогда увидишь крепостную стену и за ней — станцию. Сколько раз болели ребра от дубинки и кулаков надзирателя за такие упражнения. На станции часто останавливались эшелоны с пьяными итальянскими солдатами. Однажды они прослышали, что в тюрьме сидят большевики, и ринулись на штурм тюрьмы, чтобы расправиться с коммунистами. Их с трудом остановили офицеры.

Тупик. Дорогу преграждают белая высокая стена и железные кованые ворота, окрашенные в зеленый цвет. Она, Санта-Мария! Меня немного знобит, и я что-то плету бредовое.

— Она! Что-то похожее... судя по описанию на берегу Гвадалеты...

Дорога повела нас влево в объезд тупика. Проехав тюрьму, мы остановились и вышли из машины. Почему-то я пошел назад, в сторону тюремных ворот. Меня окликнули:

— Не стоит подходить близко.

— Они принимают без стука.

Я остановился у фасадной стены, нагнулся и поднял осколок тюремного камня.

— Где-то должна быть мемориальная табличка,— сказал я своим спутникам, стремясь чем-то оправдать свое странное поведение.

— На стене ее нет,— убежденно ответил Мануэль Урибес,— а на земле таблички бывают только на кладбище.

Отступив от тюрьмы на несколько шагов, я уставился на жестокую, веками молчаливую и тысячами людей проклятую стену с воротами, которые так редко открываются для выхода.

Вот мы и свиделись с тобой, старая химера! Ты, наверное, меня забыла, а я все помню, словно только вчера вырвался из твоих казематов. Ты все еще жива, дьявольское отродье? И нет на твою голову землетрясения, и нет потопа. Все еще твои каменные дворы заполнены скрежетом железных ворот, звоном кандалов, гулом говора несчастных, а в казематах слышны душераздирающие крики от пыток на допросах.

Как и прежде, на твоих стенах круглые сутки прохаживаются гражданские гвардейцы. Ночами они перекликаются между собой, отгоняя дремоту, а им в ответ нечеловеческими голосами кричат в галлюцинации смертники. Так же, как и в те годы, на расстрел выводят перед рассветом, и тогда замирает все многочисленное население обреченных. Выводят со связанными руками за спиной в «коридор смерти», между стеной последнего корпуса и крепостной стеной, где ружейные залпы раздаются глухо. Таковы акустические свойства этих видавших виды стен.

Наверное, живы еще некоторые твои ветераны-тюремщики, тупые садисты и отличные мастера носить на кулаках изможденные полускелеты и одним ударом выбивать дюжину зубов.

По-прежнему в твоих дворах играет горнист сигналы, гремят железные баки и пахнет гнилой вареной картошкой, горохом и чечевицей.

Сколько людских поколений ты перемолола за свои кроваво прожитые века! Сколько жизней ты унесла молодых и невинных, сколько прервала нитей великой и чистой любви! Сколько исковеркала судеб и испепелила грез, розовых, как майское утро! Сколько разрушила планов житейских и растоптала честь великих и маленьких людей! Сколько мук, крови и слез затаилось в темных углах твоих каменных ящиков! Если бы кровь и слезы обладали свойством объединяться и вскипать, они превратили бы твои стены в пыльную труху, в тлен.

Зачем я поднял осколок твоего камня? Чтобы он жег мою душу и души детей моих, пока мы живы, и наполнял наши сердца ненавистью к варварству.

Ты долго живешь, старая мегера. И многих пережила. Ты и меня переживешь. Я знаю и очень об этом сожалею. Да, впервые сожалею, что меня не будет, а ты останешься. Но ты не злорадствуй, ты закостенела в своих людоедских законах. Но и это не гарантирует вечность.

Ты побелила свою фасадную стену? Но пасть твоя и зев остались все равно черными, пропахшими трупным запахом и дезинфекцией. И как ты ни беснуешься, как ни изощряешься в изуверстве, но придет и твой черед — взорвут тебя старым тринитротолуолом, обольют твои руины горючей смесью и сожгут дотла. И люди будут смеяться на твоих похоронах, будут петь и плясать на твоих поминках. Они сегодня поднимают уже бокалы за твою кончину.

Ты спрашиваешь, чего я пришел к твоим воротам? Гора с горой не сходится, а я вот пришел к тебе. Меня здесь никто не проведывал, никто не носил передач и даже те немалые деньги, переданные моей Родиной для меня, присвоили твои стражи — мелкие и низкие жулики. Но я

пришел не за деньгами, нет. И не пришел проведать тебя, ты этого не достойна. Я приехал сюда встретиться со своей молодостью, которую ты отняла у меня и сократила дни моей жизни, забрала частицу здоровья и нервов, изменила цвет моих волос и вселила вечную мысль о горе людском.

Я пришел, чтобы прикоснуться к тем своим думам — горьким и радужным, которые остались в лабиринтах твоих дворов, камер, решеток и щелей в камнях и где-то витают, мечутся здесь до сих пор. Где-то в твоих тайниках, в камерах смертников остались мои страхи и мои надежды, мои мечты и мой гнев. Горячий, как расплавленное железо.

Я пришел, чтобы ты, ехидна, увидела меня свободным и плюющим на твою власть, чтобы ты вспомнила меня — худого, оборванного и грязного, каким я был в твоих владениях, и могла сравнить, осмыслить всю мерзость своих деяний.

Я пришел к твоим глухим стенам пожелать мужества и самоотверженной стойкости твоим нынешним обитателям и сказать от имени моих товарищей, от всех, кто прошел сквозь твой ад, кто побывал в твоих лапах смерти — будь ты трижды проклята, завтра и всегда!

...С посещением фирмы «Осборне» у нас ничего не вышло. Мы опоздали, и никого из администрации Антонио не застал. Виноватыми в неудаче признаны трое: Антонио со своими быками, Вриглей с авантюрной поездкой в Роту и я с «Колумбом». Нам ничего не оставалось другого, как принести свои извинения Виталию Погорелову и Мануэлю Урибес. Договорившись, что визит «Осборне» переносится на завтра, дорогой номер четыре мы отправились обратно в Кадис.

Только в пути я вспомнил: ведь я не осмотрел тюрьму со всех сторон, особенно стену «коридора смерти», выходящую на луг Гвадалеты.

— И все же табличка где-то должна быть,— начинал я подготовку к завтрашнему дню,— Испания не может не отметить места, где побывал Колумб.

Мне начали доказывать, что это — тюрьма, и афишировать жестокость королевской четы Изабеллы и Фердинанда по меньшей мере не патриотично.

Мануэль Урибес поддержал мою сторону:

— Зато какая суперреклама для тюрьмы. Колон!

Антонио расхохотался.

— Реклама первый класс, но меня туда и Колумб не заманит.

— А попадешь — гордиться будешь: «Я сидел, где бывал сам Колон!»

На другой день, когда мы встретились с Антонио, он обрадованно сообщил о своем открытии.

— Я просмотрел испанскую энциклопедию, и там сказано: Христофоро Колон гостил в Санта-Марии у герцога Медина Сели. А уж потом в кандалах прибыл в Кадис и его переправили в Севилью. Так что мы ищем в супе курицу, которую вчера съели жареной.

У меня не было оснований спорить с ним, как и не было шансов выиграть спор. Но я деликатно сопротивлялся и осторожно настаивал на своем.

— Энциклопедия могла и упустить какую-то неделю из жизни адмирала.

Мой шаткий аргумент подкрепил Виталий Погорелов:

— Вполне. Санта-Мария могла стать попутной остановкой Колумба перед Севильей.

В поиске все той же иллюзорной мемориальной таблички мы повторили экскурсию к тюрьме на следующий день. Однако объехать ее вокруг так нам и не удалось. Путь преградили строжайшие запреты. Глазу позволено обозревать только белый фасад и зеленые ворота, да и то ненадолгу и не каждый день. Нельзя было взглянуть на ее

грани и издали: одну стену прикрывали мрачные казенные дома, другая выходила на полотно железной дороги и на реку, а третья глядела на заливной луг.

Антонио почему-то изменил фирме «Осборне», а может «Осборне» изменила ему, и мы подъехали на улицу Фернан Кабальеро к главному управлению фирмы «Дуфф Гордон и К°». Гордон так Гордон. Винодельческая компания основана в 1768 году, на четыре года раньше «Осборне», и вместо быка на ее этикетках — силуэт коня и всадника — крестоносца с копьем.

Нас встретил директор по экспорту сеньор Рикардо Кабанас. Занятый человек лаконично рассказал историю фирмы, отдал должное ее фундаторам, похвалился широтой географии экспорта продукции, любезно пожал руки, вручил визитные карточки и передал нас главному виноделу, титулованному профессору Мадрида Хуану Франко Каньеро. В его сопровождении мы осмотрели музей развития виноделия — от прессов, давящих виноград вручную, до современных автоматов и конвейеров. Побывали в темных и прохладных хранилищах разноименных вин, где профессор изучает природу местных грибков. Пальцами постучали по бочкам, сработанным в 1762 году и сейчас наполненным хересом. Здесь же, на территории винного двора,— уютное кафе, где проводится дегустация и куда вправе зайти прохожий и под оливки или жареные орехи выпить бокал любимого сорта.

Мы пробовали золотистые «фино Фериа», «эль сид» и темно-розовый крем «санта-мария».

— На здоровье! — по-русски, без акцента произносит эти слова Антонио, чокаясь бокалом.— И на счастье, но без обычаев...

Антонио заразительно смеется, вспоминая забавную историю:

— Как-то собралась у меня компания друзей и среди них капитан советского корабля. Пили «на здоровье»,

потом он выпил «на счастье» и по русскому обычаю бряк со звоном рюмку об пол. Испанцам понравился такой обычай, и давай они рюмки в звонкие брызги превращать «на счастье». Красиво получалось. Но полного сервиза как не бывало, а сервиз хрустальный. Жена сказала: «Дороговаты русские обычаи».

Профессор все клонит беседу к политике. Хуан Франко преклоняется перед Франсиско Франко. Очарован его волей и искусством управления страной. Он за диктатора двумя руками, даже западные демократии, где бастуют рабочие, его не устраивают. «Диктатор нужен каждой стране, тогда будет порядок,— он убежден.— Диктатура — будущее мира или гибель планеты». У нас диаметрально противоположные взгляды, и мы дружно не поддерживаем его молчанием. Карьеро вынужден заговорить о другом — об охоте.

Охотник, видимо, он ярый, на его лице вырвано больше половины правой щеки, говорит, при взрыве в патроннике. Может быть. Но случается такое и в окопных обстоятельствах. Приглашает профессор нас с Виталием Андреевичем приехать когда-нибудь в Санта-Марию поохотиться на кабана, косулю, на водоплавающую дичь. Кто знает, может, и наступит такое время, когда можно будет с друзьями сходить на охоту и в плавни Гвадалеты. Разве мог я предполагать, голодный арестант Санта-Марии, что сегодня в двух шагах от тюрьмы меня будут угощать прекрасным вином и оливками? А ведь тогда я был бы рад корке сухого хлеба.

Как подарок, Хуан Франко преподносит нам сегодняшнюю «АВС». На первой странице пять крупных фотографий молодых людей: Анхел Отаэги, Хуан Паредес Манот, Хосе Умберто Баэна, Рамон Гарсиа Санс и Хосе Луис Санчес Браво Сольяс.

Вчера, 26 сентября 1975 года, каудильо подписал решение об их казни. Приговор приведен в исполнение.

Оборвалась беседа. Наступило тягостное молчание. Помрачнел Мануэль Урибес. Неловко чувствует себя Антонио, словно и он причастен к этому тяжкому преступлению. Только профессор прячет иезуитскую улыбку, глядя на наши похолодевшие лица.

«Вот вся воля и искусство Франко в управлении страной». Прав был Хуан Валенсийский: «Двух-трех помилует для проформы...»

В Кадис мы возвращались будто с похорон, и никто не проронил ни слова.

ИСПАНИЯ СО СТОРОНЫ

Лиссабон в сентябре 1975 года напоминает Испанию тридцать шестого. Стены столицы исписаны призывами, заклеены плакатами и лозунгами: «Смерть фашизму!», «Доверие коммунистам!». Стены города уподобились зеркалу, отражающему напряженную и сложную борьбу португальского народа.

Стивидор-коммунист Аугусто Камашо с тревогой, перемешанной с юмором, рассказывает о положении в стране:

— Рим и Лиссабон размещены на семи холмах. У нас фашисты старые, в Риме — неофашисты. И тем, и другим нельзя позволить, чтобы они воздвигли восьмые холмы из наших костей. Каждое утро в Португалии рождаются новые партии, а к вечеру они самораспускаются. Маоистская партия, именующая себя марксистско-революционной партией пролетариата», запрещена законом. Ее лидер водворен в тюрьму. Но законы соблюдать некому, и он свободно выступает на митингах, мутит воду. Говорят, что спать он ходит в тюрьму — там безопасней. Вчера улицами Лиссабона строем прошли вооруженные и безоружные

солдаты. Это была их манифестация. По какому поводу и чего они добиваются — ничего никому не сказано, нельзя разглашать военную тайну. Многие воинские части с момента падения фашистского режима не выходят из казарм. Подозреваем, что они бастуют, не выдвигая своих требований по той же причине неразглашения военной тайны.

Аугусто ножом и вилкой лихо расправляется с увесистым мослом в тарелке и продолжает:

— На многих торговых судах приспущены флаги. Это понятно. Португальские моряки бастуют, требуя повышения платы за свой труд. Но в казне страны показалось дно. Деньги на исходе. Триста тысяч безработных. Между фортом Белем и собором-музеем, где покоятся остатки Васко да Гама и поэта Луиса Камоэнса, создавшего бессмертный эпос «Лузиады»,— сквер набережной, огорожен веревкой и тряпьем. Это территория, захваченная беженцами из Анголы. У них ни жилья, ни хлеба, ни работы. «Что же нам делать?» — спрашивают они великих покойников, так как великие живые на этот вопрос ответа не дают, хотя в Лиссабоне ресторанов больше, чем готелей, жить им приходится на улице. Президент Кошта Гомеш уехал в Варшаву и Москву. Мечутся офицеры штаба южного крыла НАТО. Штаб размещен под Лиссабоном. Америка накаляет обстановку на Азорах. Хочет оторвать острова от Португалии. Казалось, революция — это просто, а на деле — проблемы, проблемы, проблемы,— вздохнул Аугусто.— Мы избрали социализм, а как быть с мелкими земледельцами, торговцами, ремесленниками, кустарями? Их очень много в Португалии. В Лиссабоне триста тысяч автомобилей. Трудно делать революцию, когда много личного транспорта. Лиссабон сегодня — кипящий котел страстей, хаоса, неразберихи.

Аугусто Камашо приглашает весь экипаж принять участие в сегодняшней манифестации коммунистов.

— Мы напишем вам лозунг: «Советы — с рабочими Португалии!» — и это будет бомба!

Трудно ему доказать, что наше участие враги истолкуют как подстрекательство и вмешательство во внутренние дела страны.

— Ну и черт с ними. Пусть говорят, что угодно. Они и без этого болтают всякую чепуху.

На судне паломничество. Группы и одиночки лиссабонцев просят книги Ленина, литературу о революции, о Советском Союзе. Ни у кого не осталось ни одного значка, роздали все, вплоть до подшивки журналов. Последним подарили набор пластинок с выступлениями В. И. Ленина.

Наш представитель Министерства морского флота в Лиссабоне капитан дальнего плавания Виталий Тимофеевич Лютый предложил автобус, чтобы экипаж ознакомился со столицей. Советское посольство из числа своих сотрудников-комсомольцев выделяет гидов. В посольстве царит озабоченность. Только что военные «командос» заняли радиостанцию, телевидение и телефонный центр. К чему бы это? Напряжение в столице усилилось. Увольнение на берег отменяется.

Капитан Виталий Лютый увез нас в Витшел — район роскошных вилл и богатых особняков. Здесь ни страстей, ни плакатов — тишина и покой. Даже не верится, что находишься в бурлящем Лиссабоне.

На левом берегу Тежу стоит огромная фигура Иисуса Христа. Если смотреть анфас, кажется, что Христос поражен взбудораженным Лиссабоном и в беспомощности развел руки. А посмотришь в профиль — фигура напоминает женщину, возвращающуюся в столицу с виновато опущенной головой.

Мы набросились на свежие местные газеты. Интересно посмотреть Испанию со стороны. Страницы всех изданий заполнены сообщениями о протестах, демонстрациях, клеймящих Франко печатью последнего палача Европы.

Залпы карателей разбудили мир. Миллионы рабочих на две минуты прекратили работу на заводах и фабриках, зажглись красные огни светофоров на перекрестках. Остановился транспорт. Отменены регулярные рейсы со стран Скандинавии в Мадрид. Тысячи туристов не попадут своевременно в Испанию. Небывало многолюдные демонстрации потрясли города Европы. В Париже они продолжались несколько дней и закончились траурной процессией символических похорон казненных. На площади Республики над морем людским качаются огромные портреты расстрелянных патриотов. Такого могучего урагана гнева Европа еще не знала.

Президент Мексики Луис Эчеверрия призвал всех членов ООН прервать полностью всякие связи, контакты и отношения с франкистской Испанией, как это сделала его страна. Переговоры Испании с официальными представителями общего рынка отложены. Бургомистр Анкары отключил от снабжения водой и электроэнергией испанское посольство. Римский Папа Павел VI осудил казнь как меру, недостойную нашего времени. Негодующие послы двенадцати европейских держав в знак протеста временно покинули Мадрид. «Сатанинские убийцы» — назвал правителей Испании премьер-министр Швеции. Отбросив в сторону дипломатический этикет, возглавил антифранкистскую демонстрацию премьер-министр Нидерландов. «Испания переживает предсмертную агонию диктатуры»,— квалифицировал преступление Франко министр иностранных дел Великобритании.

По Европе прокатилась цунами негодования. Мир взбунтовался. Если бы он оказался таким сплоченным, непримиримым и решительным в 1936 году, то Франко не удалось бы поднять мятеж и были бы спасены шестьсот тысяч убитых на войне и сто тысяч казненных после. Не остались бы триста сорок тысяч калеками, и двести

тысяч не были бы брошенными в тюрьмы. Не было бы и пяти последних жертв.

Если бы мир оказался единым и мужественным еще раньше, он был бы способным задушить вторую мировую войну в зародыше, в ее колыбели.

— Почему мир не восстанет и не сметет Пиночета? — спрашивает Аугусто Камашо.— Там ежедневно убивают людей.— И сам себе отвечает: — Мы толстокожие, не все еще прониклись горем Чили. Пиночет не успел нам надоесть. А Франко за тридцать девять лет уж больно намозолил нам души.

Мы проехали на улицу Салитре. Здесь обосновалось испанское посольство. Здание выглядит так, словно только что успокоилось землетрясение: разрушены балконы, ободраны стены, высаженные окна зияют чернотой. Посла кто-то предупредил о надвигающемся смерче, и он заблаговременно уехал за город, а потом укатил в Мадрид.

На улице Либертад, против памятника жертвам первой мировой войны,— испанское генеральное консульство. И оно основательно разгромлено: черные от копоти, выбитые окна и двери, столы, кресла и сейфы валяются на улицах. Ветер гоняет по мостовой гербовые бумаги с грифом «Мучо секрето» (весьма секретно).

Гнев лиссабонцев можно понять. Всего лишь семнадцать месяцев, как избавились они от фашизма. За сорок восемь лет его ига они узнали, что это такое.

Дорого обошлась каудильо его агония. Он осатанел в приступе яростной злобы. Отозван посол из Ватикана. А осуждение папы попало в категорию «подрывных листовок», со штампом цензуры «печатать воспрещается». На площадь, перед королевским дворцом Прадо, созваны по тревоге ветераны фаланги и все почитатели кровавого маньяка. На балкон вышел их идол. Из-за перил высунулась его высохшая и желтая голова. Дрожащими губами чуть слышно он прошипел в микрофон:

— Заговор масонствующих левых в альянсе с коммунистами и террористами, продажная Европа...

— Европа — проститутка! — завопили жрецы и послушники.

— Европейцы — гомосексуалисты!

— Герцог Альба мало перебил свиней-голландцев!

— Вон всех иностранцев!

— Вива Муэрте!

Фашистские молодчики из «новой силы» Блас Пиньяра рады стараться. Повинуясь команде, бросились избивать американских туристов, французских кинорепортеров, немецких журналистов. В Барселоне они подожгли бельгийское консульство. Это была низкая месть «обезумевшей Европе».

...Горная дорога петляет среди зеленого шума листвы. В долинах и расщелинах дымятся горящие лесные массивы. Это работа португальских фашистов, их месть народу.

Португальский Тироль — Синтра. Курорт среди зеленых гор, ухоженный, вылизанный и пустынный. Хаос переходного периода отпугнул туристов.

Мыс Рока — самая западная точка континента. «Здесь кончается земля и начинается вода. Отсюда уходили отважные открыватели новых земель и далеких миров»,— написано в табличке, вмурованной в скале. Теперь туристы разноименных стран открывают для себя пляжи и высоченные скалы Рока; карабкаясь, взбираются на их острые пики, чтобы сфотографироваться на память. За несколько дней перед нами не очень трезвый путешественник пошел от обратного — пустился открывать скалы сверху вниз. С вершины Рока он свалился вместе с машиной. Теперь хозяева ломают головы, как убрать тела и металлолом, недавно называемый «понтиаком».

Специальный диплом с картой мыса Рока, заверенный сургучной печатью на ленточке флага и подписью прези-

дента муниципального комиссариата по туризму региона Синтра, засвидетельствовал (за плату, конечно) дату нашего посещения вершины — шлема Западной Европы.

Курортный Эсторил — город-парк на побережье Атлантики, город фешенебельных отелей, ресторанов и казино. И он заждался знатных и богатых гостей, несущих свободно конвертируемую валюту. Только один гость живет здесь издавна и постоянно — сын изгнанного из Испании короля Альфонсо XIII, наследный принц Хуан Бурбон, отец Хуана Карлоса, преемника Франко. Каудильо обошел своей милостью первого претендента на испанскую корону, подозревая его в чрезмерном либерализме и в неучтивости к персоне диктатора.

Недавно своего отца посетил в Эсториле Хуан Карлос. Утешал ли он своего родителя или сам выслушивал укоры, наставления, благословения своего папаши — остается неизвестным. Но вся эта семейная история, как выразился Аугусто Камашо, напоминает ситуацию, когда младшая, совсем юная дочь выскакивает замуж, а перезрелая старшая обречена на титул «старой девы». Но что поделаешь, уж больно злонравный сват выпал на их долю.

При въезде в Лиссабон со стороны Эсторила, на берегу Тежу к башням старой крепости пристроены современные здания. Но почему они такие низкорослые, приземистые? Пристройки уходят этажами в глубь земли. Это крепость бывших диктаторов Португалии. Здесь успокоился Салазар и отсюда выкурили Каэтану, не помогли и подземелья крепости.

С набережной Лиссабона устремлена в Тежу носовая часть старинного корабля, построенного из желтого камня. Справа и слева, по сторонам каменного паруса, выстроились португальские мореплаватели, открыватели новых морских дорог и далеких земель. Их пути известны, они запечатлены на картах истории. В будущее устремлен корабль Португалии, недавно порвавшей цепи мертвых

якорей фашизма, и только поднял паруса новейшей истории. В штормовом океане современности, полном опасностей, он взял курс свободы и независимости.

Пусть же будут мудрыми его кормчие, крепкими его мачты и полные доброго ветра его паруса!

ВЕТРЫ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

«Из Испании — ни хорошего ветра, ни хорошего мужа»,— говорят португальцы о своей соседке. Но Испания не столько бедна верными мужьями, сколько богата дурными ветрами. Когда страну обдувает океанский «виразон», он обрушивает снегопады и стужу, ветры западные хлещут Испанию ливнями, африканский «салано» — злой и горячий ветер с желтой пылью Сахары, «медина» дует с континента удушливой засухой, и только восточные ветры несут благодатное тепло и жизнетворную влагу.

Гибралтар служит барометром для испанцев. Всегда перед добрыми ветрами скала кутается в клочковатую дымку. В рваном, кочующем тумане застали мы Гибралтар, возвращаясь из-за океана. Значит, быть перемене.

Мы вернулись в Испанию на самом пороге Нового, 1976 года и после трехмесячного отсутствия не узнали страну. Перемены повсеместно охватили все ее существо, глубоко проникли в ее горы: она задышала полной грудью, глаза стали дерзкими, искристыми и большими от удивления собой.

Валенсия и Барселона похожи сегодня на сентябрьский Лиссабон. Стены зданий, заборы, афишные стенды заклеены плакатами разных партий и движений. Рядом с коронами и портретами молодого монарха бросаются в глаза красные серп и молот, фотографии Че Гевары, Луиса Корвалана, Пасионарии.

Франко похоронили под сенью стапятидесятиметрового креста в долине павших, в синегранитном пантеоне Эскориал — рядом с гробницами испанских королей. Он во всем любил подражать монархам: жил в их дворце, содержал пышную свиту, придерживался царственных церемоний, над его головой несли королевский балдахин, и даже от послов он требовал выездов в золотых каретах. В память о своем идоле жрецы объявили месячный траур. Вся Испания приспустила национальные флаги. Но это — дань жрецов. А народ постепенно избавляется от множества копий каудильо. Его портретов становится все меньше и меньше. Одни срывают их с ненавистью и сжигают или рвут на куски и выбрасывают в мусорные ямы, другие тихо выносят в темные чуланы на расправу грызунам и стараются поскорее забыть тирана.

Больше не бравируют своей преданностью режиму и не поднимают напоказ правую руку в фашистском приветствии. А люди, помнящие республику, робко, на уровень плеча иногда поднимают сжатый кулак и оглядываются по сторонам.

...Совсем неожиданно в дверном проеме каюты появился Хуан. Поразительно и непонятно, как он решился проникнуть на судно, когда на борту еще таможенники и полицейские власти?

— Наизусть выучил «Интернационал»! — докладывает он.— Я готов встретить новую Испанию.

Мы усердно трясем друг другу руки, и я усаживаю его на диван. Герой! При его осторожности он совершил настоящий подвиг. Как быстро меняются люди, обретают мужество. Но ему что-то не сидится. Часто поглядывает на открытую дверь каюты, нервничает, наверное, думает, как теперь выйти на берег и не привлечь внимание полиции.

— Понимаете, как пагубно отразился режим на нашей психологии? — раздумывает Хуан стоя.— Молодые люди

выросли в запретах, и для них дико малейшее послабление режима. Да и нам не просто избавиться от страха, от привычек бесправия. Испания сегодня вся в собраниях, забастовках, требованиях, хотя этого никто не разрешал. Однако оно существует де-факто. Власти пока не хотят его замечать. Но вдруг это самое «пока» кончится?.. Какой-то легально-нелегальный период, он ужасно действует на психику.

Его беспокойство передается мне. А вдруг действительно придерется к нему полицейский и испортит человеку и без того горькую его жизнь? В сером свитере, суконной коричневой тужурке и синем берете он вполне сошел бы за докера, если бы не роговые очки и белое, необветренное лицо интеллигента.

— Ничего страшного. Испанцы бывают на наших судах,— пытаюсь успокоить своего гостя.

— На судах — не в каютах,— уточняет он и достает из нагрудного кармана зеленую карточку дератизатора,— теперь я «крысиный инспектор» и вправе посещать любые суда, но вдруг застанут... Они предупреждали: «Никаких лишних разговоров...»

Тревогу мою словно рукой сняло. До чего же щепетильный человек, до абсурда, до странности. Я поднялся, закрыл дверь каюты и повернул ключ в замке.

— Все сложнее, чем вам кажется.— Хуан, видимо, уловил мое удивление и оправдывался: — Все привыкли подсматривать и подслушивать. И теперь следят, по инерции. Принято считать: каждый третий доносит...

— Но у нас нет третьего.

— Он может появиться.

— Ну и пусть. В конце концов вы можете со мной говорить о крысах.

— Так долго?

Не выдержал я, рассмеялся. Неисправимо наивный и неприспособленный к борьбе человек. Его осторожность

граничит с трусостью. Впрочем, это и есть те остаточные явления страха, привитого десятилетиями, о которых говорил он только что.

— Вы извините, наверное, я глупо себя веду,— смутился Хуан,— это пройдет, привыкну.

Я подлил ему коньяка в рюмку и сменил остывший кофе. При закрытой двери, кажется, он почувствовал себя несколько свободнее.

— Когда хоронили Гарсиа Санса,— с печалью в глазах рассказывает Хуан,— очевидцы говорят, что из его гроба все еще капала кровь. Его не расстреляли, его иссекли пулями, превратили в месиво. Родные не опознали его и сомневаются, их ли это сын.— Он отхлебнул глоток коньяку.— Я думаю, что бункер так просто не уступит народу, не пойдет на значительные реформы. Испания еще увидит немало горя. Но самое страшное... Генералы, армия. Не дай бог, вернут нового Франко, повторят Пиночета. Катастрофа!

— Не то время, не та Европа и не та армия, что была в тридцать шестом,— высказал я свое мнение.

— Вы правы. И народ не тот. Он погибнет, но не допустит реставрации диктатуры. Народ воскрес. Знаете, люди откуда-то из-под спуда, из тайников извлекают разные документы, удостоверения тридцать шестого, тридцать седьмого годов. Им кажется, что возвращается республика. Испания пришла в движение: капиталы эмигрируют за границу, эмигранты едут в Испанию. Поговаривают об амнистии политзаключенных, о референдуме, выборах в кортесы — так закипает вода на огне, нижние слои поднимаются, верхние становятся нижними — смешиваются.

— А как ведут себя жрецы в бункере? — спросил я «теоретика». Четыре года назад он предсказывал «разброд и противоборство».

— Пауки в банке. Маркиза Вильяверде — «зятиссимуса» — оттеснили за кулисы. В свое время ему, как врачу,

не удалась трансплантация сердца, не вышло и с пересадкой хоть в какое-нибудь захудалое кресло министра. Бункер договорился о создании «фонда Франко». А после похорон никто из имущих не дал и гроша. Вдове «генералиссиме» решили назначить три пенсии: за главу государства, вождя национального движения и главнокомандующего вооруженными силами. Член парламента Фидель Карасо выступил в кортесах и сказал, что вдове достаточно и одной пенсии — главнокомандующего армией. Депутат — торговец из Гренады Молина Хименес обругал Карасо бранными словами. «Я всей своей жизнью, успехом дела, семьей обязан «отцу нации»!» — кричал он в парламенте, сжимая в кармане револьвер.

...Позвонил телефон. Меня просит подняться капитан. Хуан, как мне показалось, обрадовался возможности спуститься на берег. Полчаса в нарушение всех инструкций, проведенные в каюте, для него оказались пыткой. Мне этого не понять, а он рискует не только работой, придется держать ответ перед комиссариатом гражданской гвардии.

«Анхелочке быть счастливой»!» — написал я на книжке «Колобок», изданной на испанском языке, и вручил Хуану. Слово «Москва» на титульном листе обожгло ему руки, но он по-мальчишески поднял свитер и сунул книжку за пояс. Мы обнялись.

— До свидания, Хуан, здоровья вам, и пусть исполнятся все ваши желания!

— До свидания. Приезжайте к нам, когда де-факто станет де-юре.

...В салоне капитана два таможенника в синих полувоенных мундирах заканчивают оформление документов. Им помогает, шлепает печатью, заверяя подписи, агент «Бакумара» Мишель Маисма. На столе налитые рюмки, закуски, бутылка водки. Власти, всегда охочие к русской горькой, на этот раз не прикасаются к рюмкам. Траур. У каждого на рукаве черная повязка.

Наконец таможенники забирают свои документы и уходят. Мишель выпивает одну за другой три рюмки подряд.

— На здоровье! — подмигивая, говорит он по-русски и берется за закуску.— По статистике, каждый третий — доносчик. Мне повезло. Здесь оказалось три из трех,— смеется Мишель.

Вместе с капитаном и тремя свидетелями агент увозит нас в местный суд, чтобы заявить «морской протест» о предполагаемых повреждениях груза зимними штормами на переходе в Атлантике.

Муниципальный суд разместился в бывшем таможенном дворце. У входа полицейский проверяет наши документы и с нескрываемым презрением смотрит нам вслед. Репрессивному аппарату режима Франко стало тесно в ранее существующих помещениях, и муниципалитет вынужден был отдать таможенный дворец. Просторный зал с арочными сводами, колоннами, плитами белого мрамора на полу разделили перегородками на клетушки судейских и чиновничьих келий с узким коридором. Ободранные стены, деревянные скамьи, на потолке ажурный фонарь без стекол и в нем запыленная электролампочка рассеивает тусклый свет. Спертый, казенный дух, тупые и хмурые чиновники с лицами буквоедствующих ортодоксов, черные мантии, мрачное безразличие и грубость напоминают дореволюционную русскую волостную управу.

Как назло, не оказалось на месте нужного нам нотариуса. Надо ждать. Долго бродили по коридору, изучали дверные таблички и решения суда по гражданским делам, которые здесь просто накалываются на гвоздь. Приходи, читай и никому не морочь голову.

Когда-то меня и моих товарищей судил военный трибунал Севильи. Судил заочно. Тридцать девять лет спустя, исправляя вопиющее нарушение законности, я добровольно явился в цивильный суд и присутствую очно не как

подсудимый — как обвинитель, готовый изложить всю фарисейскую суть франкистского правосудия.

Но вот Мишель где-то разыскал нотариуса. Всех приглашают в келью. Юрисконсульт зачитывает «морской протест» на испанском языке. Затем этот же текст письменно и устно переводится на английский, хотя заявитель подавал протест на английском и испанский текст идентичен. Но это ничего не значит, формальность должна быть соблюдена. Потом, в знак подтверждения своих показаний о том, что шторм был действительно штормом, капитан и свидетели кивнули головой, поочередно прикладывая руку к «священному писанию». Вся церемония заносится в протокол, торжественно зачитывается, подписывается, скрепляется печатью. Протест оформлен. Громоздкое, формальное и ненужное в делопроизводстве франкистской Испании выдается за эталон традиционной деловитости и свято чтимой законности.

Какой-то нудный судейский чиновник, по просьбе Мишеля, ведет нас во двор суда и пальцем, испачканным чернилами, тычет в серую колонну, указывая на черную полосу. Ее оставил уровень воды при наводнении 1957 года. Невзрачная речушка Турия, пересекающая город, вышла тогда из берегов, подняла свой уровень на два метра и затопила многие кварталы Валенсии.

— Сюда приезжал наш незабвенный каудильо,— с раболепствующим благоговением гундосит чиновник,— он был святой человек.

Я смотрю на его подобострастную физиономию и вспоминаю Хуана. Он говорил, что франкизм расплодил немало послушников, рабски преданных режиму, особенно в бюрократическом мире, и эта когорта будет долго саботировать любые начала демократизации в стране.

...Солнце следующего дня мы встретили в Барселоне. Один из таможенников, может, по врожденной рассеянности или по случаю семейного скандала, с утра затеян-

ного супругой, забыл надеть нарукавную повязку траура и осмелился явиться на наше судно. Старший таможенной группы позеленел от возмущения. В нашем присутствии он желчно выговаривал провинившемуся нелицеприятные слова, обвинял в двуличии, в ненадежности, в оскорблении памяти «отца нации» и отправил его с судна.

Да, Хуан прав, воздвигнутая стена закоренелых франкистов существует. Они будут строить баррикады на пути простого рабочего люда, защищать его бесправие и отстаивать свои привилегии.

Стена стеной, а Барселона не очень усердно чтит память каудильо. На зданиях и у подъездов официальных учреждений намного меньше приспущенных флагов, чем в Валенсии. Кое-где развеваются де-факто полосатые флаги Каталонии. Портреты Франко почти исчезли повсеместно. Такая непочтительность барселонцев бесит, приводит в ярость ветеранов фаланги, бывших ландскнехтов «Голубой дивизии», и старцы, увешанные бляхами франкистских орденов и медалей, хмельными бродят по Рамбла, по площади Каталонии и, вскидывая руки кверху, стуча вставленными челюстями, уже орут не «Вива Франко!», а «Хайль Гитлер!», чтобы еще больнее ударить в сердце встречному каталонцу.

Появились первые почтовые марки и хрустящие купюры в сто песет с профилем Хуана Карлоса — короля Испании. Их еще нет в обиходе, но их можно купить на руках за полторы-две цены, потому что они первые.

Дети, учителя, монашки, активисты благотворительных обществ от имени Красного Креста протягивают прохожим железные банки и шкатулки с прорезями для монет. «Жертвуйте на монумент каудильо!» Бросившему монету прикалывают на борт пиджака белый значок с красным крестом.

Сколько госпиталей под охраной такого самого креста разгромили головорезы Франко во время войны в

Испании! Сколько уничтожили раненых солдат республики, понадеявшихся на неприкосновенность Красного Креста! Сколько повесили, изнасиловали, растерзали сестер милосердия с таким же самым крестом на рукаве и на белой косынке! Теперь попранный Красный Крест призван выклянчивать монеты на увековечивание памяти своего же погромщика. Истинное кощунство!

Парня в желтой кожаной куртке взяли в окружение благотворительные дамы, со всех сторон суют ему банки и шкатулки.

— Именем каудильо просим...

— Десять песет не деньги!

— Не будь скрягой!

— Пойди в порт, заработай на трамплине,— отбивается парень.

— Бурро (осел), — бросает дама.

— Перро (собаки),— отвечает им несдавшийся.

Обменявшись любезностями, они расходятся в разные стороны.

Парень, наверное, один из трех шоферов, которые по воскресным дням зарабатывают на жизнь, рискуя головой. У края причала «Испания» установлен дощатый трамплин. Он является продолжением ровной дороги между портовыми складами и обрывается у самой воды. Шофер разгоняет свою машину до бешеной скорости, выскакивает на деревянную горку трамплина и летит над бухтой. Кто дальше залетит своей машиной, тот и выиграл денежный приз. Выигрывают не все, проигрывают многие, но устроители «смертельных аттракционов» всегда собирают много зрителей и заколачивают немалые деньги.

Летящему в воздухе водителю надо удачно приводниться, успеть открыть дверцу, если не деформировался кузов, и выскочить из тонущей машины. Удается это не каждому. Недавно вместе с машиной утонул барселонец,

перекос от удара не позволил ему открыть дверцу. В прошлое воскресенье погиб водитель-француз. Его убило при ударе о зеркало воды. Тут же, на причале, как экспонат безумия, стоит поднятый со дна синий его «мерседес» с выбитыми стеклами, с помятым капотом и со сплющенным салоном. Докеры осматривают изуродованную машину и крутят пальцем у виска: «Ненормальные люди».

С Виталием Андреевичем мы бродим торговыми улицами Барселоны, идем по Коммерческой улице, минуем Триумфальную арку. Когда-то этой самой дорогой шагали мы с Розеттой и Базилио. Где они сегодня? Может, в Сантурсе у своих друзей? Как восприняли они перемены? Может, скоро возвратятся в Барселону? Может, дома меня ждет их письмо? В чем же их обвинили в комиссариате гражданской авиации? Это остается для меня неизвестным. Встретимся ли мы с ними когда-нибудь? Должно быть, встретимся, когда съедемся сюда со всей планеты, чтобы соединить разрезанную на равные куски широкую ленту красного атласа — символ недаром пролитой крови за мир и свободу прекрасной страны.

Многие ветры бушуют над Испанией, они проносятся над ней и сегодня — ветры разные по своей силе и постоянству. Одни обманчивы и вероломны, другие повеют-повеют надеждой и, не достигнув апогея, затихают. Третьи перерастают в бурю и тоже идут на убыль. И только один могучий ветер, рожденный в миллионах сердец исстрадавшихся людей, не переставая, шумит и крепнет над многострадальной землей. Иногда он достигает ураганной силы. Иногда забивается в горные ущелья, шахты, рудники и оливковые рощи, в заводские корпуса и стены университета, но уже более полувека беспрерывно сотрясает Испанию. Он и только он принесет стране большие и добрые перемены. Испания воспрянет духом и станет снова молодой и счастливой.

ШАГИ К РАССВЕТУ

...В уютном холле меня встретила смуглая, быстроглазая Ирене Фалькон, известная испанская коммунистка, верный соратник и бессменный секретарь председателя Испанской компартии Долорес Ибаррури.

— Наша Пасионария уже в пути, сейчас будет здесь,— проговорила она с акцентом, приветливо улыбаясь и усаживая меня в кресло.

«Да, коммунисты — это люди особой закалки, с необыкновенным запасом прочности»,— подумал я, глядя на эту немолодую женщину. Вот уже сколько лет прошло со дня нашего знакомства в Москве, а Ирене не изменилась, такая же энергичная, быстрая, с молодой лукавинкой в глазах. И трудно поверить, что товарищ Фалькон еще в 1924 году участвовала в составе делегации от Испанской компартии в работе Первого Всемирного конгресса женщин против войны и фашизма в Париже.

Не первый раз я посещаю испанский комитет в Москве. Но никогда здесь не было такого оживления, боевого духа, как в этот августовский вечер 1976 года. Приходят и уходят пожилые и молодые испанцы с красными гвоздиками в петлицах, объятия, поздравления, смех, разговоры в полный голос и в полную ширь жестикуляция.

С букетиком гвоздик, нарядная, подтянутая, веселая появилась Пасионария. Она благодарит моряков теплохода «Пятидесятилетие комсомола» за теплое поздравление в день ее юбилея.

— Знаете, в восемьдесят внимание очень дорого, особенно с берегов родной Испании.— Она грустно улыбнулась и тут же сняла минутную расслабленность. Я вручил ей веточку аликантинской оливы, засушенную в книжке, передал приветы от земляков. Она коснулась их губами и нежно прижала к щеке сухие, хрупкие листочки. И жадно расспрашивает о моих встречах в Барселоне, Валенсии,

Аликанте, Кадисе. Глаза ее то пылают огнем, то туманятся слезами.

— Скоро, скоро я буду там,— твердит она, глядя на сухую веточку оливы.

Когда я рассказывал о своем свидании с тюрьмой Санта-Мария, лицо ее преобразилось, стало страдальческим, словно она в этот миг испытывала мучительную боль.

— Они политзаключенных освободят,— она грозит указательным пальцем, а грудной ее голос звучит гневно и решительно,— мы их заставим.

В натуре неистовой, пламенной коммунистки ничего не изменили тяжелые десятилетия. Такой же душевной и мужественной я впервые увидел ее в Валенсии в 1936 году.

Такой она осталась и сегодня, словно и не было никаких сорока лет, не было Франко, не было эмиграции, ничего не было, кроме борьбы, выдержки и надежды.

— Испания, Испания! — воскликнула она.— Глухонемая страна, молчавшая столько лет и вдруг заговорившая громко, на весь мир. Сегодня Испания самая богатая на известия.

Вести из Испании — как вешние воды. Они вливаются в стремительный поток и разносятся по всему миру, волнуя землян. События громоздятся одно на другое, образуют заторы, половодье потрясающих перемен охватывает всю страну.

Испания! Испания! Наверное, потому, что тебя захлестывают все новые и новые проблемы, не пишут мне мои испанские друзья. Они заняты твоей и своими судьбами, с головой окунулись в бурный водоворот происходящих событий, и нет у них свободной минуты.

Словно услышав меня, пришла весточка из Аликанте. Дождался я живого слова свидетеля, непосредственно переживающего все невзгоды и радости на новом пути Испании. Письмо странное, на трех непронумерованных

листках из блокнота. И сам текст похож на блокнотную запись. Ни здравствуйте, ни до свидания, с места в карьер.

Листок первый: «В Мадриде открылось советское посольство. Это радует и рождает надежды, что мы снова будем хоть и далекими, но добрыми соседями и друзьями с великим Советским Союзом, с его мужественным народом. Наконец мы делаем шаги к рассвету. Однако до восхода солнца еще далеко и долго. Говорят, что мы дожили до времени «великой демократии». Я тоже думаю, что мы, слава богу, дожили... Нам просто прорубили дыру в потолке для свежего воздуха, чтобы мы не задохнулись окончательно, но нас еще не выпустили на свет божий. Отдушину почему-то окрестили великой. Демократию дали нам, а себе оставили все, как было при идоле: землю, заводы, отели, банки и миллиарды. Все это осталось их собственностью и власть тоже. Карательные органы остались те же. Нам же предоставили остальное, что-то иллюзорное...»

Листок второй: «Правительству сегодня приходится шевелить мозгами, напрягаться, изворачиваться и лавировать. Трудно, трудно им. Они растеряны, действия их неуверены. Порой бесцельны и неэффективны. Все требуют амнистии политзаключенным. «Бункер» требует репрессивной твердости и ограничений. Кого слушать? Марселино Камачо выпустили из тюрьмы. Выпустили и испугались. Опять его упрятали за решетку, потом снова освободили. А как поступать с «рабочими комиссиями»? Этого никто не знает. А комиссии действуют напористо и в открытую. «Вертикальные профсоюзы» прочно заняли горизонтальное положение. Они полегли без боя, и больше им не встать на ноги. Вечная память! Никто не дает рецепта, как удержать коммунистов вне закона. Все требуют возвратить их к легальной деятельности. А «бункер» высекает искры своим негодованием и всеми силами препятствует легализации компартии».

Листок третий: «Ждем выборов в кортесы. Первые выборы на сорок втором году жизни людей, родившихся в 1936 году. Они не знают, что это такое, что за приправа и к чему она подается. Конечно, выборы надо провести очень тонко, осторожно и мудро, не обозлить простых людей и не огорчить франкистов. Проблема более серьезная, чем накормить пятью хлебами толпу страждущих и жаждущих. Год назад растерянность охватила полицейские легионы. Состояние шока быстро прошло, и репрессивный аппарат без нашатырного спирта обрел нормальное состояние. Сегодня он орудует более решительно, чем когда-либо. Полиция и жандармы нередко опережают решение правительства. Цены растут. Солдаты маршируют. Туристы беснуются от пресыщенности, а мы трудимся в поте лица. Так мы и шагаем «великим демократическим путем» к концу ночи, помня слова рыцаря печального образа, «после тьмы надеемся на свет».

Ниже вместо подписи рисунок: уши, глаза, сомкнутые губы и дымящаяся сигара.

Бесспорно, это записки валенсийского «теоретика» Хуана. Его стиль, его манера оценки и его осторожность. Я вижу, как он отгрызает конец сигары, прикуривает, пускает дым, не затягиваясь. На его лысоватом лбу расправились морщины, и он с шариковым карандашом в руке подбивает свои «оппозиционные итоги». Потом инспектор по дератизации, гроза корабельных грызунов, по какой-то надобности едет в Аликанте и там, весь взмокший от напряжения и страха, оглядываясь по сторонам, бросает письмо в почтовый ящик и тщательно вытирает руки носовым платком.

Милый и добрый созерцатель Хуан. Как там маленькая Анхела? Ей скоро исполнится шесть лет, пора собираться в школу...

И потянулась цепочка воспоминаний: обозленный и подобревший Педро Савелья — дворянин Белокостов.

Дошел ли он до истины, верно ли переоценил ценности? Суетливый сеньор Томас Морено — вечный искатель грузоотправителей. Хмурый хозяин ресторана Батистэ в Санта-Поля и золотой пляж, заполненный богатыми туристами, со своими яхтами и слугами, капризами и причудами. Лодочники и сборщики пляжного мусора, худые, оборванные. Веселый, влюбленный в боевых быков тореро, сменивший шпагу на электронный калькулятор коммерческого агента в Кадисе. Тихая, сонная Гвадалета, вьющая петли среди буйных лугов, и над ними тюремная крепость Санта-Мария.

Неужели близится тот долгожданный час свободы, когда перед узниками, противниками кровавого каудильо, распахнутся тяжелые кованые ворота и истерзанные люди, отвыкшие смеяться, улыбнутся солнцу? И вице-директор фирмы «Вапорес Суардиас» сеньор Фаси... Теперь он каждый час слышит громкие требования: «Автономию Каталонии!» И на каждом шагу видит оранжево-желтые полосы каталонского флага. Сеньор Фаси отныне не будет складывать кисти рук, готовых к одеванию наручников. Я слышу его леденящий голос и равнодушные слова: «Испанец всегда доволен своей судьбой. Даже из нищеты он умеет извлекать выгоды и удовольствия». А сам сеньор по сей день извлекает выгоды из тяжелого труда горемычных каталонцев и удовольствие от прибылей.

...И еще одна весточка. На голубом конверте — марка с изображением Хуана Карлоса, короля Испании, и почтовый штемпель Бильбао. Пока я вскрываю конверт, перед глазами возникают и исчезают знакомые лица. Их целая галерея: одержимый Ягинда с глазами, мечущими молнии; плачущие Розетта и Базилио, протирающий замшей запотевшие стекла массивных очков; неторопливый Пабло — бывший арестант Санта-Марии и бывший солдат «Голубой дивизии»; бармен в черном смокинге Исиодоро, разливающий коктейль; шустрый, изворотливый Хосе с хитроватой

улыбкой (так он и не приехал в Одессу); полицмейстеры Сантурсе, пахнущие кожей и тюремным духом; кареокая сеньора, незнакомка в серебристом купальнике с одной серьгой в левом ухе; гражданский гвардеец в полном снаряжении среди обнаженных на пляже в Альгорте.

Что с ними сегодня? Как отразились на них последние события? Как сказались перемены на их судьбах? Может, Ягинда, Пабло, Исиодоро шагают сегодня в походе басков за автономию своей страны? Может, инспектор «гражданской гвардии» и начальник полиции истязают их в тюремных застенках? Может, Хосе?.. Письмо написано красными чернилами и подпись: Розетта. Значит, добрые друзья живы и все обошлось благополучно.

«Здравствуйте, дорогой друг! У нас много новостей и многие из них хорошие. В Мадриде открылось советское посольство, и мы с Базилио плакали от радости. Нам кажется, что советское посольство сблизило, объединило нашу первую и нашу вторую родины. Через неделю мы возвращаемся в Барселону. Вы простите нас за то, что мы неожиданно покинули нашу квартиру в Барселоне. Мы поступили так, как этого хотели власти. Теперь это нам кажется страшным сном. И все, что длилось в Испании тридцать девять лет, это был страшный сон. Но, слава богу, все осталось позади. Вы знаете, что у нас прошли выборы в парламент. Пожилые люди говорят: «Франко и его режима словно и не было. За левые партии голосовало 46 процентов, на два процента меньше, чем в 1936 году. И только восемь процентов проголосовало за франкистов. Надо учесть, что это за сорок один год настойчивой пропаганды и выжигания демократии. К нам вернулась наша Пасионария с дочерью Амайей. Родная ее Астурия снова избрала Долорес своим депутатом парламента. Напишите, как живете вы, что у вас нового? Будем рады получить от вас письмо, а лучше приезжайте к нам. Теперь это проще. Честное слово, мы уже не будем оглядываться по

сторонам. Базилио и дети передают вам большой привет и пожелания всего самого наилучшего в жизни. Розетта.

P. S. Пишите нам по старому адресу в Барселону».

Пасионария. Май семьдесят седьмого. Газеты, радио, телевидение сообщили: «Долорес Ибаррури выехала в Испанию». Кончились тридцать восемь лет ожидания. Пришел наконец долгожданный час возвращения. Самолет приземлился. Испанское солнце и звонкая медь оркестра. Нет, не забыла Испания свою Долорес.

«Возвращение Пасионарии — самое крупное событие года»,— вынесли в заголовки испанские газеты. На стенах домов рабочих кварталов размашистые надписи: «Да, да, да — Долорес!», «Нет и нет — франкизму!».

Здравствуй, многострадальная родина! Первый шаг по земле, где ты родилась, где прошла твоя молодость, где ты мужала в борьбе. Первые приветствия встречающих, и им в благодарность добрая улыбка и навернувшиеся слезы радости. Так дорого ей одно прикосновение к этой земле, залитой слезами и кровью и высушенной зноем и пламенем военных пожаров. Вся прожитая жизнь отдана людям, мужественным и отважным, презирающим смерть во имя свободы, равенства и братства. Здесь девчонкой училась она и работала в швейной мастерской. Здесь трудилась прислугой в зажиточных домах: стирала белье, мыла посуду, убирала квартиры и чистила чьи-то ботинки. Здесь стала шахтерской женой, и здесь ее многотрудный путь привел в партию коммунистов.

Стачки и подполье, тайные сходки и открытые манифестации, полицейские слежки и тюрьмы в Мадриде, Овъедо, Бильбао. Нелегальные переходы Пиренейских гор, нехоженые тропы, колючий кустарник и каменистые пропасти, погони собак и карабинеров. Вместе с бастующими шахтерами Астурии она сидела в шахте и требовала у хозяев человеческих условий труда, политических свобод и улучшения жизни шахтерских семей. И тогда благодарные

ей люди избрали свою Долорес в парламент депутатом от Астурии. В Овъедо, забрав тюремные ключи из рук трусливых и нерешительных чиновников, она выпускала на волю политзаключенных после победы Народного фронта. Она первая провозгласила лозунг против фашизма: «Но пасаран!» («Они не пройдут!»). И этот боевой клич всколыхнул мир, стал призывом и символом в смертельной схватке с ордами Гитлера, Муссолини и Франко.

На этой земле она стала матерью шестерых детей. Здесь сын и дочери бродили вокруг подпольных явок и засыпали на митинге, неухоженные, полуголодные. С глазами, полными страданий, вглядывались в тюремные окна, к решеткам, а может, хоть на один миг покажется лицо матери. Первой умерла Эстер, потом ушли из жизни Амагойя, Асусена и Ева. Пятым могильным холмиком на этой земле стала могила мужа.

В Волгограде на площади Павших борцов в братской могиле сраженных в боях на Волге навечно остался сын Пасионарии гвардии старший лейтенант Рубен Ибаррури, комсомолец, Герой Советского Союза, командир пулеметной роты. Его биография коротка, но полна трудовых будней и боевой славы: инструментальщик Московского автомобильного завода, курсант летного училища, девятнадцатилетний сержант армии Испанской республики. Свой боевой счет в борьбе с фашизмом он открыл на реке Эбро и продолжал его в Каталонии. Потом — концлагеря Франции, побег на свободу и служба в Красной Армии. В боях за Белоруссию и на священной земле Сталинграда Рубен Ибаррури сполна платил врагу за поруганную землю родной Испании.

В те далекие годы Пасионария писала своему сыну: «Быть может, мы все погибнем в этой борьбе, но ты, мой сын, будь силен. Помни о нашем идеале, будь готов бороться, не ослабевая, будь готов до конца пожертвовать собой за наше дело... Никогда не сомневайся, что

коммунизм — единственный идеал, которому следует посвятить всю свою жизнь». Наказ матери выполнялся свято до последнего вздоха.

Здравствуй, Испания! Вместе с Долорес вернулись на родину ее дочь и друг Амайя и соратник по многолетней борьбе Ирене Фалькон. Еще немало проблем на пути к рассвету. Еще есть силы, и все они будут отданы на благо своей страны, во имя мира и счастья народов Испании.

Испания, Испания! На твоих ли это площадях свободно полыхают красные флаги и тысячи тысяч людей поют «Интернационал», поднимая без страха правую руку, сжатую в кулак?! Тебе, Испания, обещают новую реформу налогов, при которой будут облагаться одинаково и гранды и бедняки, обещают конституцию, одобренную подавляющим большинством народа?!

Твои ли это дочери: Баскония и Каталония получили автономию, пусть временную, до создания конституции, но автономию, пусть пока не полную, но автономию, за что столько пролито крови и перенесено горя?! Неужели баски и каталонцы сегодня открывают национальные школы, легально издают свою литературу и поют песни на родном языке?!

Неужели сегодня воротилы Испании консультируются с профсоюзами, а всемогущие владыки считаются с оппозицией?!

Ты только шагнула к рассвету, Испания!

Ты многого достигла, Испания, но к большому рассвету еще немало трудных дорог впереди. Но близок, близок тот час, когда ветераны твоей свободы приедут к тебе в гости и торжественно соединят ленты в одну, как символ недаром пролитой крови!

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 3

ГДЕ ЖЕ ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ? 5

Незваные спутники 12

Три неполных дня 20

Японские «россияне» и русские «японцы» . . 30

Конфликт 42

В Муроране 54

В прощальный день 63

ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ 73

Шестое свидание 79

Здравствуй, Испания! 88

Переступив порог... 94

Новые знакомые 105

От пяти до казни 117

Перед расставанием 124

До свидания, Испания! 134

Седьмое свидание 146

Последний из белокостых 160

Где вы, друзья и товарищи? 168

Анхела и Хуан 179

Восьмое свидание 189

Вопреки воле диктатора 200

Кадис — Санта-Мария 211

Испания со стороны 227

Ветры больших перемен 234

Шаги к рассвету 244

Иван Петрович Гайдаенко

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ

Документальные повести

Редакторы В. С. Белова, В. Г. Омелянчук. Художник А. В. Гета. Художественный редактор Д. А. Лукомский. Технический редактор К. П. Лапченко. Корректор С. И. Слабошевская.

ИБ № 699

Сдано на производство 20.12.77. Подписано к печати 17.2.78. БФ 34206. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 2. Обыкн. новая гарн. Печать — высокая. 8,0 физ.-печ. лист., 11,2 усл.-печ. лист., 11,19 уч.-изд. лист. Тираж 65 000. Зак. 1677-7.

Цена в переплете 85 к.

Издательство «Радянський письменник», Киев, бульвар Леси Украинки, 20.

Отпечатано с матриц Головного предприятия республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Довженко, 3 во львовской книжной фабрике «Атлас», Львов, Зеленая, 20.

85 коп.

Иван Гайдаенко ДРУЗЬЯ и НЕДРУГИ